

Библиотека
журнала
ЦК ВЛКСМ



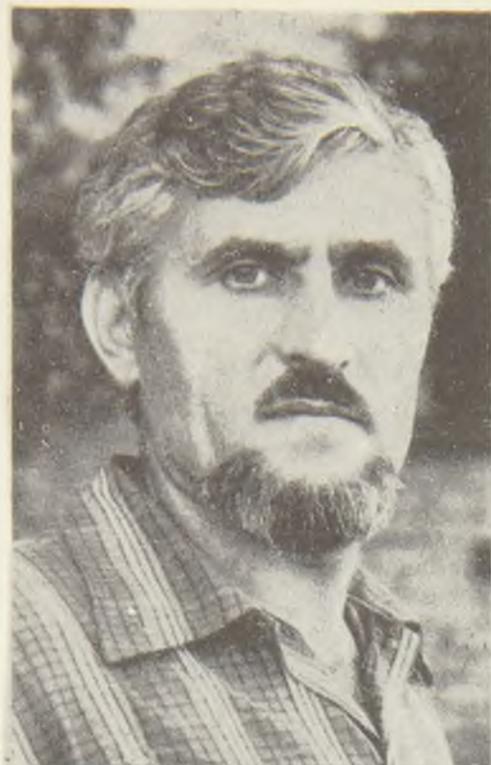
**МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ**

1984

Александр МИЩЕНКО



Последний волчатник



Александр МИЩЕНКО родился в Хабаровске. После окончания Саратовского геологоразведочного техникума работал на изысканиях в Средней Азии и Тюменской области.

Закончил факультет журналистики МГУ, работал в газете научным сотрудником, помощником бурильщика на Самотлоре, инженером-дорожником.

Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни».

Герои книги Александра Мищенко «Последний волчатник» — охотники, рыбоводы, акклиматизаторы — люди, посвятившие себя не созерцательному общению с природой, а рациональной и одновременно поэтической работе с ней. Эти люди бескорыстны, как сама природа. Поэтому-то, очевидно, проза А. Мищенко обладает столь активной очистительной силой, целеустремленной нравственной позицией.

Познать характер человека в непосредственном контакте с природой — труд пристальный и кропотливый, требующий от художника не только духовной самоотдачи, но и реального, практического соучастия, часто непосредственного вмешательства в судьбы работников природы.

Александр Мищенко не сторонний наблюдатель жизни. Он трезво понимает, что лишь человек может выдать охранную грамоту природе. Писатель исходил немало охотничьих троп, работал помощником бурового мастера на Тюменском Севере, научным сотрудником рыбного НИИ. Его очерки и рассказы пахнут цветами, пронизаны ароматом полей и лесов, солнечным светом, овеяны хвойными вихрями.

Это сочетание пришвинского начала с деятельным подходом к проблемам государственного природоохранения, публицистичность и точное художественное видение отличают прозу А. Мищенко.

Убежден, что в литературу приходит человек неординарный, самобытный, мыслящий.

Владимир ЦЫБИН

Библиотека
журнала
ЦК ВЛКСМ



**МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ**

1984

Автор

Александр
Мищенко

Последний волчатник

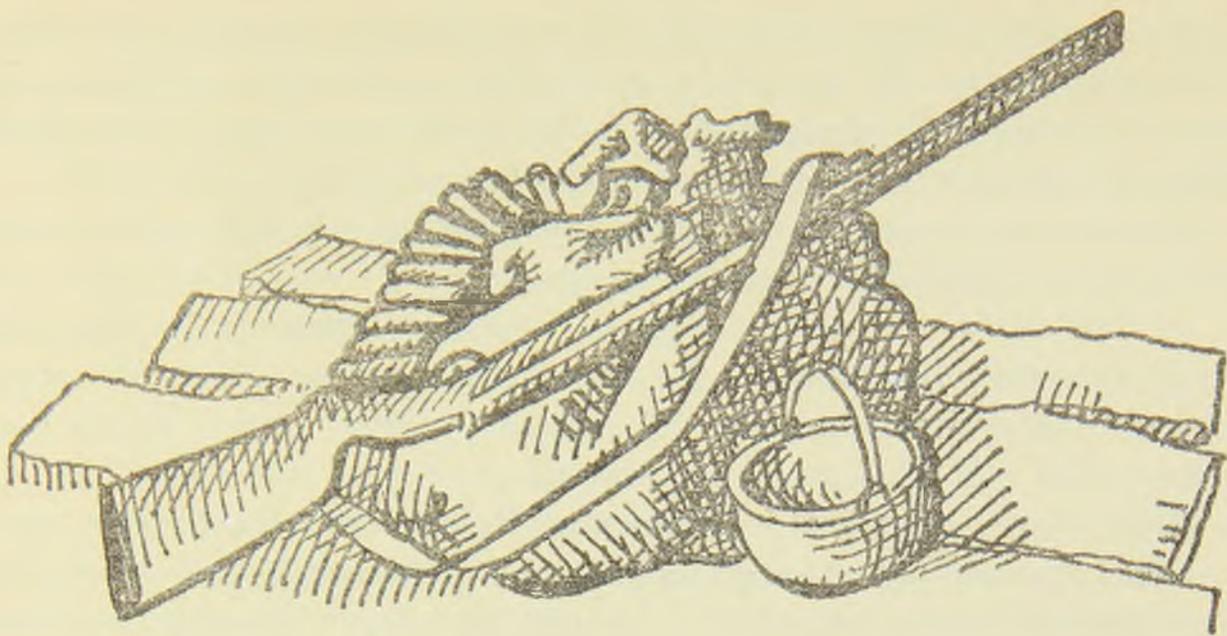
Очерки

Москва
«Молодая гвардия»
1984

Художник **Виталий ЛЕНЧИН**

Адрес редакции: 125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а.

© Издательство «Молодая гвардия»
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1984 г.
№ 46 (153)



БАТЛЫМСКИЕ ТРОПЫ

С неба летит и летит сыпуха — мелкий и влажный снег. Одежда у нас отяжелела. Не зря Картыков пророчил:

— Мокрые будем, как утята.

Я едва поспеваю за ним. Куница петляет, и охотник, идя по следу, лавирует между стволами, ныряет под ветки. Куница, сбивая след, идет верхом и низом. Собаки неизвестно где. Удивляюсь, как держит зверька охотник, неужели чутьем? Картыков движется мягко, стремительно, энергично втягивая носом воздух. Я потерял всякую ориентировку и полагаюсь на ведущего. Хотя предчувствие такое, что гонка добром не кончится...

Вот уже полмесяца я на промысле у профессионального охотника. Когда уходили мы в тайгу из рыбацкого селения Батлыма, в природе царила торжественность. Светлым хребтом вздымался над поймой Оби туман. Таежные дали искрились в чистом сиянии солнца.

— Эх и побелку-у-уем, — блаженно предвкушал Картыков, — сейчас самое золотое время.

Путь до избушки промерен охотником сотни раз. Дорога шла

берегом рыбной речки Батлымки, жемчужины всего Ханты-Мансийского округа. В нее впадает ручей со странным названием Промкомбинат, доставшийся ему от районного промкомбината, который когда-то вел здесь заготовку леса.

Возле дороги висят на сучке котелок и консервная банка с аккуратно подбитыми краями.

— Тут Иван отдыхает, когда за продуктами в Батлым ходит,— говорит Картыков.— В молодости по шестьдесят верст без остановок проскакивал. А теперь слабеть стал. Здесь чай пьет.

Иван — это дальний родственник Картыкова. Он живет выше по реке, где когда-то располагался национальный рыболовецкий колхоз. Все давно переехали в благоустроенный Батлым, но Иван со старухой не покинули насиженного места.

Выходим на Крутые лога: волнами вздымаются кругом дремучие гривы. Их сменяет подъем на Семинский перевал.

Бывалился тут из саней плотник Семен.

— А здесь,— знакомит Картыков с памятными ему местами,— Ульянкина мать нарты сломала. Так и назвали местность — Нарты.

Потом Картыков, не сбавляя хода, заговорил об Ульянке.

— Лучшая охотница у нас. Живет в старом Моиме, это километров сто отсюда. Древний хантыйский стаи был там. Семья у нее в Моиме — мать и девочка-сиротка. Взяла ее Ульянка на воспитание. Брат, инвалид, переселился туда. В Батлым она приходит на отдых, пушнину сдавать. Два годовых плана за сезон выполняет. Лес знает отменно...

Вдруг Картыков резко остановил меня. Мы замерли. Явственно слышно, как где-то далеко впереди залились лаем собаки.

— Загнали на дерево.

Картыков легкими скачками вырывается вперед...

Куний след исчез у огромной наклонной лиственницы. Видно, когда-то рвануло ее в грозу под корень. Дерево не рухнуло, а зависло, напружинив тетивой соседнюю лесину. В вершинной части ствола лиственницы зияет дупло.

— Там куница,— хлопотливо обегая дерево, оценивает ситуацию Картыков.

Я взял ружье на изготовку, а он осторожно постукивает топором по комлю. Вершинка дрожит, осыпая со ствола рыжие чешуйки. Куница не подает никаких признаков жизни.

Картыков, покачивая головой, смотрит на комель. Толщина его с метр. Неужели рубить? Взгляд у охотника страдальческий. Но надо решаться. И он затюкал топором. Железо раз за разом все глубже впивается в древесную плоть.

— Хоть бы трухлявый, хоть бы трухлявый,— стонет Картыков.

А ствол, как нарочно, цельный и крепкий. Но лиственница, медленно потрескивая, все же клонится ниже и ниже. Потом начинает с хрустом оседать и вдруг замирает, зацепившись ветвями за соседнее дерево. Я держу на мушке дупло. Картыков напряженно вглядывается в темный провал его, прикидывает высоту. Надо подрубить дерево, это ясно. Но под лиственницей опасно находиться: вдруг да не успеешь выскочить.

Картыков в раздумье. Тяжело выдохнул. Потом решительно махнул рукой: будь что будет. Осторожно ступая, охотник приблизился к подпорной лесине.

Эхо делает гулками размеренные сильные удары. Картыков прыгает, как фехтовальщик. Разгулявшаяся охотничья страсть побеждает страх.

— Хоть бы счастье, хоть бы в дупле была, хоть бы удача, хоть бы повезло,— постанывает он.

Но вдруг Картыкова словно выбросило из-под падающих стволов. Лиственница глухо стегнула землю.

Неудача. Куница, видимо, ушла по верхам деревьев, и собаки не смогли больше поймать ее след. Дупла на лиственнице не оказалось. Это была всего лишь небольшая выемка. Лицо у Картыкова потемнело, и я не осмелился спросить, какому зверю понадобилось грызть ствол.

Картыков снова снует между деревьями в поисках пропавшего следа куницы. Снег еще слабый, а на болотах и мочажинах в наших следах появляется вода. Выручают резиновые сапоги — бродни. На случай морозов у нас запасены сохни — хантыйские чуни и меховые носки, называемые по-местному чижамми.

Прояснилось. Идем по свежему снегу. Он сыпал непрерывно

с ночи и почти до полудня. Картыков удовлетворенно оглядывает все вокруг.

— Вот это снежок, перенова.

Перенова — значит «переновило землю». Замело все старые следы. А новые теперь четкие, свежие. Движемся быстро, держать след куницы легко. Хорошо видно, где выволочен и всколыхнут ею дымчато-белый воздушный снег. По перенове самая охота...

Батлымские жители не любят, или, как принято здесь говорить, не обожают пушной промысел. Настоящий профессиональный охотник в поселке один Картыков. Остальные мужчины предпочитают рыбалку.

— Изменчиво рыбацкое счастье, но на уху всегда поймаешь, — говорят батлымцы. И в сезон лова из заводов Берестяной стан, Лорба и знаменитой на весь округ Шкатулки плывут лодки, доверху груженные рыбой.

Однако Картыкова тут не считают каким-то чудачком. Им откровенно восхищаются. Многие ребяташки мечтают стать такими же охотниками, как «дядя Володя». Картыков — охотник молодой, новье, как он шутит. Был когда-то колхозником, работал на животноводческой ферме, а охотился по увлечению. Но охотник в конце концов переселился в нем животновода, порвал Картыков с оседлой жизнью. Перешел на работу в промыслово-охотничье хозяйство и несколько лет уже трудится там.

Его охотничьи угодья занимают сотни квадратных километров. Граница настоящей охоты начинается от лесной избушки. Когда позже мы наконец добрались до нее, она напоминала сказочный домик. С крыш почти до земли свисали сосульки, в которых горело, переливалось ярким розовым светом предзакатное солнце. Но пока мы шли по следу неуловимой куницы. И вдруг:

— Соболек! — вскричал Картыков, показывая на тропу. — С полчаса назад прошел. Вишь, валик воздушный, нежный какой на передней стенке следа! Слышал, пропастина, как мы шаршились, прямо от нас и ушел. Гнать будем. И черт с ней, с куницей! — махнул рукой охотник и рванулся за сободем, срезая петли и углы, оставленные на снегу хитроумным зверьком.

Легко движется охотник. Я едва поспеваю за ним. Начинаю

помаленьку усваивать, что такое гнать соболя. Вечереет, свету стало меньше. Снег стал мгlisto-свинцовым, и след почти не виден, но Картыков идет безошибочно.

Собаки далеко впереди. Загонят соболя на дерево — мы услышим. Я уже могу различать их по голосам. Затавкает Шарик, забасит Дружок. Зло будет рвать Верный, залется мелким лаем Белка.

У нас четыре собаки. Это четыре судьбы, четыре характера. Белка — черная молодая собачонка с желтой сердцевидной меткой и белым пятнышком на лбу, легкомысленно невестится со всеми в нашем собачьем отряде. Ищет белку и глухаря. Верный — крупный костистый пес. Его промысловая дичь — лось, медведь, соболя. Пятнистого черно-белого Шарика охотник взял по просьбе товарища поднатаскать. Это рослая, но трусоватая собака. Боится даже лося. Все лают, а она подожмет хвост и сидит в кустах. Встреча с медведем сулит ей, по шутливому замечанию Картыкова, обморок. Но положение Шарика не безнадежно, может, еще и излечит недуг. Самые интересные по характеру — Верный и Дружок. Охотник говорил мне:

— Верного можно ударить — не обидится. А Дружок самолюбивый.

Как-то на моих глазах разыгралась такая сцена. Картыков убил белку. Облаял ее первым Верный. Зверек был еще теплый, из грудки сочилась кровь. По обыкновению охотник дал лизнуть ее отличившемуся на сей раз Верному. В этот момент к Картыкову подскочил, облизываясь, и Дружок. Охотник нервничал: до обеда не убил ни одной белки и вот сорвал зло на собаке — пнул ее.

Удар был резким и пришелся прямо под бок. Дружок взвизгнул и мешком упал на снег. Потом с трудом поднялся. В глазах собаки слезный наплыв и боль. Опустив хвост, не оборачиваясь, она пошла от Картыкова.

— Однако, зашиб, — буркнул хозяин.

Несколько километров мы двигались без Дружка.

— Может и в Батлым уйти, — обеспокоенно сказал Картыков.

— За сто километров?

— Это его не испугает.

Потом мы увидели Дружка. Он шел следом. Остановился метрах в двадцати от Картыкова.

— Дружок, Дружок,— обрадованно позвал собаку охотник.

Собака, не мигая, смотрела на хозяина, словно взвешивая, согласиться на перемирие или нет.

— Дружок, Дружок,— упрашивал Картыков. Пес медленно двинулся к охотнику. Тот ласково потрепал ее. Собака лизнула руку хозяина, глаза ее потеплели. Колечком вскинулся хвост, и Дружок весело рванулся догонять своих четвероногих собратьев.

Верный — безродный пес. Случайно прибился однажды к Картыкову и, не отставая, ходил за ним по пятам. Охотник гнал его от себя — бесполезно: собака будто прилипла к нему. Наверное, настолько несладкой была собачья жизнь, что пес решил выдержать любые унижения, лишь бы обрести хозяина. За это он и приглянулся Картыкову. Охотник сжалился над собакой, и она на всю жизнь осталась благодарна хозяину, безропотно сносит любую несправедливость с его стороны.

Тайга уже наложила свой отпечаток на Картыкова. По натуре общительный, он становится год от года менее разговорчивым, стал замыкаться в себе. Можно полдня пробыть с ним рядом и не услышать ни слова, особенно если удача охотнику не сопутствует. Часов шесть проходили с ним как-то — и ни одной белки. Картыков все время молчал.

— О чем ты хоть думал? — спросил я потом.

— Собак ругал: следов много, а белку не ищут, не чутыистые на нее.

Он поднял сосновую шишку и с силой пульнул к вершине дерева. Повернулся боком к солнцу, и оно неожиданно ярко высветило седеющую прядь на его виске. Картыков перехватил мой взгляд и посмотрел, в свою очередь, на меня.

— А ты отчего белый? Много думаешь? У меня тоже вот забот по макушку. Будет удача или нет? Добуду пушнины или нет? Детей ведь кормить надо, а собаки этого не понимают.

...Первая наша вылазка в тайгу из охотничьей избушки оказалась неудачной. Картыкова уже охватило волнение от милого его сердцу белкования. И вдруг главный его следопыт Дру-

жок позорно сбежал с промысла: охотничий сезон начинается в самую пору собачьих свадеб. Мы вернулись за собакой в Батлым. Теперь хозяин вел ее в тайгу на веревочке. Несколько дней еще он привязывал Дружка на ночь, а собака ходила по тайге с ничего не видящими глазами.

— Тоскует, пропастина, невеселый,— мрачно цедил Картыков.

Охоты на белок, о какой он мечтал, не получалось. Но наконец-то тоска по «даме» у Дружка начала проходить, и мы чаще стали слышать его басовитый голос.

Вот и сейчас, прислушиваясь к лаю собак, Картыков петляет по следу. Я же иду напрямую и, однако, едва поспеваю за ним. В голове у меня крутится неотступный вопрос: «Как же удастся Картыкову разобраться в хитросплетениях собольего следа?» Четкая стежка двоеточий, оставленных удивительно широкими лапами соболя, кружит, вьется меж кустов и деревьев, потом обрывается вдруг и вновь появляется. Немыслимо сложные петли, наброды, как иероглифы. Для меня это китайская рукопись, в которой не разобраться без знания языка. Я могу только представить себе волнообразные движения соболя, крутые дуги-изгибы спины его в скачущем куньем галопе, каким он уходит от нас.

Позднее Картыков приоткроет завесу над тайнами соболевания, загадками, откровениями жизни «короля пушнины», и я буду знать, почему на следу соболя остаются отпечатки только двух задних лап. Их он, оказывается, на глубоком снегу ставит в отпечатки передних, что значительно облегчает бег. Чем длиннее прыжок, тем дальше выставляет он одну лапу. А смысл — чтобы не переворачиваться через голову после каждого большого прыжка. Прыгает зверек по валежинам, наклонным лесинам — тут легче двигаться. Много снега намерзло под следом (палкой его ковыряют) — старый, вечерний или вчерашний, мало — охотился утром, совсем нет — «парник», след свежий. Таким мы сейчас и гоним за соболем.

— Стой-ка! — останавливается охотник.— Послышалось — лают. Показалось. Ладно, передохнем. Устаешь, вижу, привычки нет.

«Однако и тебе, братец, нелегко», — подумал я, всматриваясь в охотника. Едва уловимая бледность на щеках, капельки пота на лбу.

Минутная остановка, отдышались стоя — и снова гонка. Я пытался было считать, сколько гребней мы проскочили, сколько логов пересекли, да сбился со счета. Качалось перед глазами фиолетовое небо, растворялся в темноте лес. Наступала ночь.

— Хоть бы успеть, хоть бы успеть нагнать, — опять застонал Картыков и вдруг словно споткнулся на ходу. — Мишкин след, сегодня ходил. Не спит, шатается. Надо быть осторожнее, ..

Да, это был след шатуна.

Мне уже случалось встречаться с «хозяином тайги»...

Не открыв для себя Ильехана, я вряд ли увидел бы медведя так, как мне довелось.

Ильехан — говорливый ручей. Вертлявый, полуметровой ширины колеей несет он между кочек воды в Батлымку. Ильехан для Картыкова — самое заветное урочище, где он появляется раз в год. Несколько дней обходит охотник свои владения и возвращается с богатой добычей.

Ни приметы, ни предчувствия, ни сны охотника не предвещали нам в тот день неожиданностей. Мы встали еще при звездах по крику ворона, что обитал в окрестностях нашего лесного домика.

— Ворон что петух в тайге: залает — добрый охотник уже идет, — просвещал меня Картыков.

Впервые я узнал, что у ворона широкий диапазон голоса. Льется с неба бульканье — ворон, крякает уткой, скрипит сухим деревом — ворон. Он и каркает и лает. Лай у ворона скромный, учтивый. Утренняя его песня, например, — глухое размеренное тьяканье. Ворон — санитар леса, убирает всякую пададь. Сторожко живет он в тайге. Появился человек в угодьё — держит его на замете, следит с высот, сопровождает, зная, что тут можно ждаты и поживы.

Начав день с побудки ворона, мы закончили переход в сумерках. По обыкновению, Картыков в Ильехане меняет стоянки на ночь каждый вечер. А нынче надумал переночевать у старого

костровища. До предполагаемого места его оставалось несколько сот метров. Собаки были где-то впереди. За день они устали и далеко не отрывались от нас. Собаки уже выработали чутьем тот интервал, который позволял им вести себя независимо от хозяина и в то же время в любой момент быть готовыми исполнить его приказ.

Нас остановил голосистый лай. Собаки захлебывались. Верный признак: крупный зверь, возможно, лось.

Картыков быстро перебросил мне свою поклажу.

— Стой, я один пока, а то шороху много.

Он зарядил стволы пулями и мягко, по-кошачьи бросился по следу.

И до этого случалось уже несколько раз, что собаки вызывали на нас лося, но обычно таежный красавец недолго стоял в сужающемся кольце собак. Он прорывал злобное окружение и, высоко вскидывая ноги, стрелой улетал в тайгу. Собаки не выдерживали бешеного кросса — возвращались с высунутыми языками.

На этот раз лай собак не удалялся. Я услышал выстрел, потом еще один. Жду почему-то следующего. А его нет. Может, случилось что-нибудь? Оставил груз и побежал по следу Картыкова. Выскочил к логоу. Картыков стоял на противоположной бровке его метрах в двухстах. Между нами в кустарнике клубком перекачивался какой-то большой зверь. Волна шквального влого лая надвигалась на меня. Взвел курки своей двустволки.

— Медведь! — крикнул Картыков.

«Его только не хватало», — промелькнуло у меня в голове, и по спине пробежали мурашки. Но всплеск испуга, пересиленный охотничьим азартом, схлынул, я вскинул и навел стволы в направлении треска от подминаемых зверем кустов. Едруг шум прекратился, зверь затих.

Картыков кивнул головой, и мы стали сходитья, держа ружья наизготове: раненый зверь опасней здорового. Предосторожность, однако, оказалась напрасной. Медведь лежал на боку. Лоснящаяся туша медведя была недвижной, маленькие подслеповатые глазки его погасли. По снегу расходилось темное пятно.

Картыков начал свежевать тушу. Собаки жадно смотрели на хозяина, ожидая лакомого куска. Были они взъерошенные, нехорошо, по-звериному горели в сумерках их глаза.

— Медвежонка возьми! — скомандовал хозяин.

Малыш лежал под елью, уткнувшись мордочкой в снег. Он был как игрушечный: мягкий, пушистый, чистый. Шубка, украшенная белым «ошейником», казалась сделанной из плюша.

— Такие медведи, с «ошейником», — самые злые, — сказал Картыков.

И все-таки мне трудно было примириться, что медвежонок убит. Даже невозмутимый внешне Картыков смотрел на него виноватым взглядом.

Не переставая орудовать широким охотничьим ножом, он рассказывал:

— Подбегаю к ельнику, слышу, кто-то урчит, думал, росомаху собаки загнали. Потом запыхтело что-то, запыхтело, и вылезает вдруг из кустов мишка. Тряхнул лохматым своим горбом, встал на задние лапы, буравя меня глазками, рывкнул. Я выстрелил. Он на болото побежал. Только выстрелил, слышу, за спиной на дереве шум. Оглянулся, а это медвежонок слазит. Оказывается, медведица вышла на меня. Глянул на медвежонка — мал еще, но за штаны, однако, рвать может. А тут раненая медведица впереди. Пришлось выстрелить.

Неподалеку на бровке лога, вдоль которого выбили тропу лоси, над холмиком земли виднелись широкие лопатовидные рога. Здесь с неделю назад, как определил Картыков, медведица задрала лося. Все вокруг было изрыто и переломано. Ключья шерсти, мясо и кровь красноречиво говорили о недавней драме. Наверное, лось был больной, ослабел, вот медведице и удалось справиться с ним. Из-за лося, очевидно, медведица и не залегла вовремя в берлогу.

От сохатого осталась уже одна грудина. Недоеденная туша была забросана мхом. Медвежонок после вкусного ужина решил, видимо, пошалить, а медведица любовалась чадом. И в эту мирную идиллию ворвался собачий лай...

Мы развели костер и пошли с Картыковым на тропу. Останки лося уже припахивали. Картыков выбирал места, где еще оста-

лось мясо, и отрезал его небольшими пластами, готовя приманку на лисиц.

— Мишка ведь не такой опасный,— делился со мной лесной «наукой» Картыков немного погодя у костра.— Крикнешь: «Куда, пропастина, прешь!» — остановится. Бывало у меня так. А вот лось без разумения, он истопчет.

— Страшно было, Володя, когда медведь вышел? — задал я наивный вопрос.

Картыков недоуменно глянул на меня.

— А сам как думаешь? Тебе-то страшно было. И я живой человек.

За три года Картыков убил восемь медведей, восемь шатунов. Придерживаясь местного обычая, он никогда сам не ищет медведя. Все восемь раз он встречался один на один с ним и всегда со старым ружьишком, цевье которого перевязано для крепости тугой тесемкой.

— Почему новое не купишь? — спросил я.

— Да жаль расставаться со старым,— ответил он, поглаживая ладонью приклад ружья.— Родное оно...

Картыков не верит ни в какие божества, но тем не менее не расстаётся в тайге с талисманом — кожаным ремешком с медвежьим зубом.

Когда мы сварили на костре свежей медвежатины, я с нетерпением схватился за ложку, чтоб попробовать мясо. Охотник недовольно поморщился:

— Куда торопишься? Поровать еще будем.

Он зажег спичку и три раза обнес огонь вокруг чашки.

— За удачную охоту! Старики так делали,— сказал Картыков.

Оказывается, старики еще произносили и своеобразную молитву — речь, обращенную к медведю, этому дикому человеку, который, по легендам, не смог якобы ужиться с людьми. Покрошат хлеба возле чашки с мясом, поставят плошку каши и говорят: приходи, мол, батюшка, откушай с нами.

После ужина охотник продолжил хлопоты с мясом, складывая отдельно куски сала.

— Медвежий жир — это лекарство от простуды.

Мы поздно угомонились в тот вечер. Нарубили веток и стали сооружать из них постель. Затем уложили три громадные сырые лесины одна на другую, закрепив их с боков кольшками. Распалили два костра на концах. И нодря, как ее называют здесь, заработала.

— На полночи хватит этой печки,— устало произнес Картыков, и мы стали укладываться на лапнике...

Утром Картыков распорядился:

— Рубим домик мишке!

Мы заготовили несколько ровных лесин. Потом Картыков уложил поудобнее одну из них. Легонько стукнул с комлевой стороны топором. Вбил деревянный клин и с одного удара развалил бревно. Затем стал разделять обе его половинки, и получились доски толщиной в три-четыре пальца каждая. Они пошли на пол. Быстро выросли стенки сруба. В него и попрятали мясо медведя. Сверху заложили домик толстыми бревнами.

— Росомаха на пятнадцать сантиметров горбыль прогрызть может,— предупредил меня Картыков.— Одна бревна со сруба поднимает. Медвежья сила, недаром на мишку похожа. Это ж зверь разве? Первый пропастина, вор...

Он долго ругал росомах. Видно, здорово они его дозлили грабежами.

Мы уже отчаялись догнать соболя и вдруг услышали глухой лай собак. Картыков встrepенулся и помчался вперед. Я не отстал: усталости как не бывало.

Лес на косогоре был густой, небо едва белело, ветки сливались с темнотой. Могучий кедр распластал в вышине свою крону. Там наверху и спрятался соболя.

Я стучу по стволу топором. Картыков прицелился и ждет, не метнется ли зверек. Но соболя притаился, и все-таки охотник выследил, как он прыгнул в проталине неба с одной ветки на другую. Раздался выстрел, и сбитый зверек полетел на землю. Картыков прыгнул к нему, обороняя ценную шкурку от укуса собак.

— Баргузинский! Вот это удача! — радостно урчал охотник,

поглаживая пушистый комочек, хранящий еще тепло жизни.— Наш-то, тобольский, соболь желтенький, как песок, или коричневый. Темнеет в урожайные на кедровую шишку года. Но таким не бывает.

Баргузинского соболя завезли сюда с Байкала. Это самая ценная порода. Я зажег спичку. Мне впервые пришлось видеть такой чудесный, смолисто-черный, с золотым антрацитным отливом мех.

Теперь можно и возвращаться. Мы спустились в распадок и вышли на болото. На чистом от снега месте еще светло. Пытаемся определить, куда же идти. Картыков сокрушенно проговорил:

— Заблудились, парень.

Посоветовались и решили двигаться наугад вдоль болота, может, выйдем логами к Ильехану.

Заметно похолодало. Брюки и телогрейки заледенели и стали как жестяные. Хорошо, хоть нет ветра. Охотник движется ровно, я же едва удерживаюсь на ногах, спотыкаюсь о невидимые кочки и валежины.

— Тропа! — зовет меня Картыков.

По лосиному следу идти безопаснее, но труднее. Ноги съезжают в узкий желобок. Равновесие удерживать трудно, приходится балансировать, будто идешь по канату, хвататься за ветки колючего можжевельника.

Такие тропы пролегают здесь вдоль всех логов. В низинах много корма — кустарниковой березы, осинки, мха, багульника, сочных болотных трав, вот лоси и приходят сюда. Редко кому удается увидеть их здесь: зверь очень чуток. Охотник настигает его только благодаря собакам.

...Когда мы с Картыковым тронулись в первый поход по дальнему урочищу, он заявил:

— Может, лося добудем сегодня, одну лицензию я оправдал в этом году. На второго лося петлю поставил. Решил испробовать, есть ли толк в такой охоте. Дней десять назад прибегал сюда с тросом. Долго уж без проверки, а тут Дружок еще задержал!

На тропе между соснами увидели мы тогда только рога лося в стальной петле да обглоданный скелет. Картыков сразу опре-

делил, что это дело росомах и медведя. Он стоял растерянный и подавленный, как на похоронах.

— Теперь я вроде и браконьер... Все! Не ловил раньше петлей, теперь и сыну закажу. Убийство это ведь. А был бы транспорт, слетал и проверил. Худо без него, совсем худо... Пришел к председателю колхоза за лошадью однажды — мясо лосиное из тайги привезти, — не дал, корма, мол не успеваем завозить, скот голодный. Гусек суконный, балахон этот — на себя и подался к скрадку своему. Погрузил там мясо на нарточки, впряг собак, сам коренником стал в упряжку. Трое суток ушло на обратную дорогу.

А декабрь, холод страшный, лед на ручьях трещал, кора берез и сосен лопалась, будто стреляли, — описывал этот путь Картыков. — Днем-то с морозом можно бороться, а ночью, как выяснит, он прожигал до костей. Вот меня и прихватило. Домой добрался — кых да кых! Истаял весь, как свечка стал. Курить бросил да жир медвежий, не переставая, пил. И оклемался, вишь, выздоровел.

Вечером у костра Картыков долго молчал. И вдруг его словно прорвало. Опять выплеснулась наружу горечь неудачи с охотой на лося. Охотник бичевал себя, и для меня это было несколько неожиданным. Он говорил о природе, которая живет вечно, об охоте, о человеке, о том, что жестокость можно оправдать, когда она разумна. «Охотник ведь не мясник, скотобоец какой-то, — заканчивал Картыков на тихой и грустной нотке. — Мы со зверем живем вместе в тайге. Я и его душу, беды знаю лучше других. Жалко бывает красавцев лесных...»

Далеко завел нас соболек. Полночи мы плутали в поисках Ильехана и лишь на рассвете вышли к пойме ручья. Отоспались у костра, и вновь пошли таежные будни.

Утром небо затянуло белесой хмарью. Воздух морозный. До обеда мы проходили впустую. Белки как вымерли. Не было и боровой дичи.

— Не пойму отчего, — ломал голову охотник. — Может, мало-водица повлияла? Два года уже мелкая Обь, рыбе нереститься и пасться негде. Несколько десятков лет такого не бывало. А пусто в реках — пусто и в тайге. Всегда такая «арифметика» выходит...

Зашли в густой ельник и обнаружили вскоре, что снова заблудились. По полуденным кронам стали выходить к Ильехану.

— Видишь, ветки густые,— подсказывал мне Картыков,— полуденная сторона дерева. В полдень солнце здесь самую жизнь ему дает.

— А компас у тебя есть, Володя?

— Был школьный, разбил.

— Карту, выкопировку бы тебе хорошую займешь, чуть что, и сориентировался,— заговорило во мне топографическое прошлое.

— Да где ж ее взять? Не слышал, чтобы охотники в наших местах имели карты. Мы ж не геологи.

У Ильехана остановились. Пора было обедать. Картыков взял котелок и пошел долбить лунку. Я стал выкладывать куски вареного мяса, хлеб, сахар.

Быстро развели костер. Картыков следил, как закипает вода.

— Наливай,— говорю я ему.

— Погоди, пережат на чаю появится, белым ключом закипит — тогда.

— Дошел, самый чай сейчас будет,— улыбается охотник и снимает котелок.

Растираем над кружками комки плиточного чая. Настой получается ароматным и живительным. Чувствуешь, как разливается по телу блаженный напиток.

И опять мы в пути. Попали на куртину сухостоя. Я услышал треск за спиной. Оглянулся — никого. Картыков рассеял недоумение:

— Сухие деревья трещат, к теплу, значит.

Словно в подтверждение его слов ветром разнесло хмарь, выглянуло солнце, и веселою стала тайга, занеслась.

Картыков легонько трогает топорищем беличьи следы. Вмятины мерзлые.

— Старые,— определяет охотник.

В нескольких местах находим посорку чешуи с сосен, скорлупу кедровых орехов. Это белка расщелкивала их, добираясь острыми зубами до ядрышек. Я нашел свежий след. Картыков быстро наклонился, дунул в него. Радостно глянул на меня снизу, выкатив голубоватые белки глаз.

— Вишь, сдвинулись средние и крупные комочки снега, десяток минут назад белка была здесь.

Собаки взяли след белки и быстро загнали зверька на сосну. Дружный и радостный лай огласил округу. Белка прыгала с ветки на ветку, пугливо зыркала вниз широко расставленными глазами и нервно подергивала распущенным хвостом.

Прицеливался Картыков не торопясь. Выстрел. Мимо. Снова белка на прицеле.

Меня это уже не удивляет: не так-то легко промышлять белку, тут есть свои сложности. Охотник прицеливается в голову зверьку так, чтобы основной заряд прошел мимо и не повредил шкурку. Весь расчет на одну-две крайние дробины.

Еще выстрел — и белка, кувыркаясь, летит к ногам охотника. И вскоре занимает свое место в связке у пояса. Картыков любит ее голубовато-серым мехом. Лицо у него, как и после каждой удачи, большой или маленькой, просветленное. А тут особая радость: Картыков наслаждается белкованием — торжественной тишиной, в которую вслушивается до звона в ушах, урканьем застигнутой на дереве белки, шорохом полевков, шебуршанием поползней.

Впереди заманчиво синеют горы. Пойма Ильехана смыкается, и ручей тесниной проходит к Тор-Ежу. Это приток Батлымки. Поразительно красивое место! Куполообразные вершины, живописные увалы, ступеньками спускающиеся в глубокие лога. Кажется, будто все породы деревьев района собраны здесь, как в заповеднике. На северных сторонах острова кедрач, ельник, на солнечных косогорах — сосна, в ложбинах — мелкий осинник с обглоданными стволами и скусанными ветками. Корой и молодыми побегами осины питались в период осенних гульбищ лоси. Некоторые деревца сломаны — это буянили взъерошенные в период гона, с налитыми кровью глазами и раздутой шеей самцы.

И впервые в своей жизни я увидел здесь рощу корабельного леса. Глянешь вверх — голова кружится, легкими облачками плывут высоко в небе зеленые кроны сосен. И, словно золоченые, горят в лучах солнца струны стволов. Стеной стоит могучий лес, дереву тут и упасть нельзя.

— Видел, как одиночки-сосны растут? — спрашивает Карты-

ков и сам себе отвечает: — Кривые. А эти, вишь, к солнцу как тянутся. Недаром старики говорят: «Не гонитесь в одиночку за счастьем, а идите за ним гуртом, дружно».

С опушки соснового бора мы увидели залитую солнцем долину Ильехана. Плавно спускались к нему лесистые увалы, за которыми виднелись синие горы. И через всю чащу — ослепительно голубая дымка. Мне вспомнилось слышанное об одном художнике, как он однажды открыл такую же картину в тайге, но с собой у него не оказалось красок. А пошел позже с мольбертом и не нашел поразившей его воображение лесной панорамы и всю жизнь потом искал ее, рисовал и писал полотна, которые стали после его смерти шедеврами. Загляделся на открывшийся вид и Картыков. От избытка чувств вдохнул полной грудью ароматного смолистого воздуха.

— Раздолье, — услышал я. — Вот бы полететь, как птица.

Картыков был необычайно выразителен в эту минуту. Густая поросль щетины скрывала скулы и округлила лицо мягким овалом. Большие черные глаза и разлетистые брови делали его похожим на обаятельного джигита. Охотник весь светился. Я никогда не видел, чтобы Картыков любовался тайгой, природой. Обычно все его мысли, чувства, эмоции были связаны непосредственно с охотой, с азартом таежного промысла.

Зачарованный голубыми далями Ильехана, стоял и я, не шелкнувшись. Казалось, пошевелись, отойди в сторону — исчезнет эта картина, как видение, цветной сон.

Над нами раскинулось небо, высокое, ясное, с какой-то звонкой голубизной. Здесь удивительная природная акустика. Где-то в логу дятел принялся с упоением долбить ствол. Гулкие и мелодичные ноты, словно дятел бил по пластинкам ксилофона, долетали до нас. Так можно было стоять, любоваться, впитывать в себя эту красоту бесконечно, но нас ждали охотничьи дела. И мы углубились в тайгу.

На исходе дня собаки напали на росомаху и быстро загнали ее на дерево. Я легко сбил этого медвежистого темно-бурого зверя с грубым, лохматым мехом. Картыков замешкался и едва отобрал росомаху у собак, отшвыривая их руками и ногами. Это немного охладило их пыл. Да и интерес к убитой росомахе уже

пропадал, хотя они горели еще охотничьим азартом. Собаки стояли поодаль, надеясь, что хозяин их обласкает. И услышали устную благодарность Картыкова:

— Молодцы, собачки!

Мера поощрения дошла до собак, они завиляли хвостами, продолжая поглядывать на росомаху, которую охотник держал в руке. Росомаха вдруг шевельнулась. Оказывается, она была только ранена. Картыков перехватил росомаху на загривке крепче и невозмутимо бросил каждой собаке по кусочку хлеба.

— А это материальный стимул,— улыбнулся охотник.— Теперь можно приступить к учебе.

Он опустил раненую росомаху на землю. Зверек затравленно вертел острой мордочкой, вспыхивали зеленым огнем его блестящие глазки, мелко подрагивали бока с белыми разводами.

— У-усь! — закричал охотник. Собаки прыгнули к росомахе, хищно оскалив зубы, но охотник успел выдернуть ее прямо у них из-под носа и поднять вверх. Росомаха словно вдохнула новых сил и с бесноватостью затрепетала в руках охотника, выбросила веера сильных когтей.

— Поймался, вор, поймался, пропастина,— с ненавистью чеканит Картыков похитителю добычи в капканах охотника, в продовольственных скрадках.

Зверек шипит и фыркает, показывая собакам острые зубы. Охотник продолжает урок, собаки бесятся от злости, готовые разорвать росомаху. Это жестокая учеба, но собак нужно натаскивать.

К ночи мы снова вышли к Ильехану. Широкая долина, обрамленная по обеим сторонам лесистыми гребнями увалов, была залита щедрым светом круглого шара луны. От деревьев падали голубые тени. Фосфоресцирующе сверкал снег. Будто замороженный колдовским лунным сиянием, Картыков смотрел на долину и удивленно, словно он видел все это впервые, прошептал:

— Да ведь это ж Ильехан! — и тихо, дыханием одним засмеялся.

Когда мы в тот вечер отдыхали у костра на густой пихтовой подстилке, я спросил:

— Володя, не страшно бывает в тайге оттого, что один и один все время? — спросил я.

— Привык бирючить.

— А если ногу, положим, сломаешь? — допытывался я.

— Случится что — доползу, — ответил Картыков.

Лицо его было задумчивым, в глазах бились отсветы огня. Он словно забыл обо мне и с отрешенностью проговорил после сиплого вздоха:

— Живем — не люди, умрем — не покойники. Загнешься где-нибудь, и никто не узнает.

— На пятьдесят километров сил хватит?! — воскликнул я, ошеломленный его решимостью.

— Зубами буду землю грызть, а доберусь до зимовья. Ладно, что это мы о мрачном заговорили? — оборвал Картыков. — Давай-ка лучше песню споем, а то все некогда было.

Насчет песни у меня пролетело мимо ушей, и я пытал Картыкова о своем:

— А если не хватит мочи ползти?

— Не хватило бы — не ходил на охоту бы, — жестко отрезал Картыков. — Лет пять еще можно не беспокоиться...

Меня потрясли мрачное спокойствие и решимость Картыкова, и перед глазами встали картины возможного события. Вот охотник ползет по снегу, волочит сломанную ногу, она распукла, одеревенела. А он хватается за кочки, за корни и ветки, вспахивает телом снег, пальцы рук побелели, из уголков искореженного болю рта сочится сукровица...

А Картыков начинал в это время несколько песен, но они как-то не шли. Может, оттого, что искусственно взбодрил себя. Но задумчивость Картыкова постепенно рассеялась, и он легко и с раздольностью запел песню, предварив ее замечанием: «Рыбаки ее у нас очень любят». В песне говорилось о лесной фее, которая жила над рекой и, купаясь в Дунае, попала в рыбацкие сети. Ее увидел юноша Марко и полюбил. Наутро красавица фея исчезла. В поисках ее Марко бросился в Дунай. Он утонул,

а песня о нем осталась. Пение захватило глубинное в Картыкове, и он закончил на пронзительной грусти:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут,
И сказок про вас не расскажут,
И песен про вас не споют.

С первых же куплетов я понял, что это «Валашская легенда» молодого Горького.

— Как и когда попала эта песня в Батлым? — спросил я охотника.

— Ее наши отцы и деды пели еще.

— А русский язык от кого ты узнал?

Картыков с удивлением вскинул брови:

— От них же.

С самого начала нашего знакомства я внимательно вслушивался в речь Картыкова. Родной язык народа ханты в чем-то схож с клетотом птиц. Фразы Картыкова очень музыкальные. Чувствуется, что они наполнены богатыми народными речениями и оборотами. Образным оказалось у него и русское слово. И по журналистской привычке я все время полню свою записную книжку.

«Светогон» — так называет Картыков электрика. «Сундук на закрытом замке» — о скряге; «прискребчивый» — о вредном соседе; «захребетник» — о тунеядце; «и поилица и кормилица» — о реке. «Кто любит шти наварные, а кто жену нарядную», «Как хозяин, так и гость, вешай рюмочку на гвоздь», «Милости просим, с кого гривен восемь, а с вас ничего», «Хозяин — барин: хочешь ешь, хочешь задавись» — присказки. «Не зря меня вчера целый день давом давило» — по поводу перемены погоды. «Портянкой нашего брата не сметешь», то есть нас много. «В сердце лета» — в середине лета.

Язык помогает глянуть в седое прошлое, и мне думается о тех временах, когда россияне только-только начали осваивать Сибирь и несли сюда свою культуру, привычки, знание ремесел, весь свой трудовой опыт, и зарождалась крепкая дружба между первопроходцами и местными людьми. И понятнее, ближе стано-

вплось мне читанное у исследователя Тобольского Севера конца прошлого века Дунина-Горкавича о том, что в домах ханты и манси водился «скусный» фамильный чай (по-нынешнему мелкий, байховый), нередко звучали звуки гармоники... А легенду о Марко и красавице фее, по-видимому, занесли на Север либо политические ссыльные, которых немало бедовало на здешних берегах, беглые или самоходы, как их называли здесь, бежавшие от царского гнета, либо энтузиасты-учителя.

Еще одну ночь провели мы на ногах: далеко ушли, увлекшись промыслом. Вот уж истинно, что охота пуще неволи.

К утру только добрали мы до своего заиндевелого костровища. Почти сутки прошли с того часа, как загасили мы огонь, отправляясь на промысел.

Шатаясь словно пьяные, разводим костер, перетрясаем от снега лапник, сушимся, утоляем голод и валимся спать. В лицо — жар огня, в спину — лед стужи. Завернуло свирепо, мороз градусов тридцать.

Это был нелегкий сон, казалось, что тело прокалывают десятки острых металлических игл. Разбудил меня Картыков. Я лежал, разметав руки, одной пятерней доставал до снега. Мороз успел прихватить три пальца, они начали уже белеть. Охотник стал растирать их.

— Домой! — сказал Картыков. — Дорога знакомая, не собьемся: ночь светлая.

Мы надели сохни — брезентовые чуни с кожаными головками, устелив их внутри сухой травой. Вскинули на плечи ношу и отправились в ночной поход. У меня в рюкзаке — хозяйственное снаряжение. Сверху навязаны бродни и пальто (его я превращал в матрац). У Картыкова за спиной медвежье сало, кусками утрамбованное в кужемку, большой берестяной короб, с боков которого аккуратно увязаны топоры.

Кужемки — проверенная веками хозяйственная утварь ханты, и меня не удивляет, что Картыков любит их. В них ничего не сомнешь, к такому коробу легко приладить любую поклажу. Хорошо и отдыхать с ним, сидя на земле: откидываешься, как в

кресле. Как и многие батлымцы, Картыков почитает белую тайгу — чистые высокие березовые леса. В ходу у него береста. Ею охотник покрыл крышу таежного зимовья, и водоустойчивой она стала. Наделал чумашек черпать воду из лодки. Изготовил из бересты две люльки дочкам, сняв верхний слой ее по рисунку, украсил национальными узорами и орнаментами.

Бывая на Севере, я не раз убеждался в художественной одаренности детей ханты, манси и ненцев. Талантливо рисуют они птиц и зверей, тайгу и тундру. Это передалось им из веков. Ни социальный гнет и беспросветная нужда, ни метели, морозы и другие невзгоды не могли убить, задуть поэзию у народностей Севера.

Много поэтического открылось мне в Картыкове за месяц. В избушке у охотника делают всегда остановки рыбаки, направляясь в верховья Батлымки. И однажды они оставили у него нарс-юх, национальную пятиструнную балалайку, напоминающую по форме лодочку. Ее называют еще играющим деревом и делают из ели или кедра.

— Пусть лежит у тебя, — сказали рыбаки, — на остановках будем играть.

Через несколько месяцев, в Тюмени уже, я узнал, что Картыков смастерил к этому нарс-юху приставку — «сцену», напоминающую барабан с цветными боками. На ней красовались две куклы в национальных костюмах — парень с девушкой. Внутри барабана была система блоков, соединяющих кукол с нитками, выходящими наружу: Картыков цеплял их к пальцам и, умело «дирижируя», начинал наигрывать плясовую мелодию. И куклы пускались в пляс. И для задубевших от ветров и ледяной работы друзей его это был самый лучший в мире концерт.

Дома у Картыкова я видел еще торопыт-юх — это национальные гусли, по-местному — кричащее дерево. Торопыт-юх очень мелодичный инструмент из елового корня, в его голосе много от курлыканья журавлей. И поэтому торопыт-юх называют также журавлиным деревом. С ним Картыков тосковал обычно в одиночку, когда находило на него такое настроение.

На рассвете мы пришли к избушке. С ближней лиственницы

деликатно протявквал ворон. На этот раз его призыв послужил нам не побудкой, а сигналом ко сну.

Мы проспали целые сутки. Встали, Картыков начал перебирать мешок с пушниной, поглаживая шкурки:

— Мя-я-ягкое золото... В общем, ничего добыли, даже хорошо.

В трофеях у нас были соболь, росомахи, беличьи, заячьи шкурки. Одна лиса в капкан попала.

— Попробуем сегодня порыбачить,— сказал Картыков.

Погрузили на нарточки кольца и спустились к Батлымке. Речку крепко сковало льдом. Было солнечно. Искрился розовый, в косых лучах солнца снег. Далеко у поворота курилась полынья.

— Мороз сейчас на Обь давит, вода там крепче, чем спирт, пожалуй,— говорит Картыков.— Станет река, тепло будет. Всегда так. Сначала малый рекостав. Схватит все протоки, тепло наступает. Потом опять холод. Это уже на большой рекостав. Мороз с передышками работает.

Сейчас разрежем пешней всю речку,— продолжает Картыков, показывая на лед.— Наставим в стену колея, между ними натолкаем до дна елочных веток, а у берега майну вырубим и морду поставим. Понял?

Иду рубить ветки, а Картыков делает майну. Я натаскал целую гору лапника и стал долбить лед. Беру пешню поудобнее: одной рукой на уровне груди, другой — на уровне пояса. Трудновато колоть лед. А Картыков, оказывается, наблюдал за мной и вдруг объявляет:

— Так лентяи лед колют. Учись!

Берусь руками в одном месте. Дело пошло веселее... Все готово. Картыков погружает в майну морду.

— Ну, ловись рыбка маленькая и большая!

В чистых струях воды видны прутья ловушки. Сделать морду не так-то просто. Жала ее из листовенницы. Скреплены они кольцами из черемухи, а обвязаны ременными заготовками из корней кедров или сосны.

Собаки крутятся вокруг майны, ждут рыбки. Верный и Шарик начали валяться на снегу.

— Буран вожжат,— замечает Картыков.— Ну, посмотрим!

Вытаскиваем морду. Внутри прутяной ловушки трепещут крутобокие чебаки, красноглазые сороги. Высыпаем улов на лед, сверкает, переливаясь под солнцем, серебряная горка. Мороз быстро сковывает рыбешку. Картыков бросает собакам чебаков. Они ловко, на лету схватывают их и с жадностью разрывают.

Я направился в избушку готовить уху. Только стал взбираться на берег, как услышал за спиной вскрик. Картыков, неестественно запрокинув руки, навзничь падал в майну. Он успел-таки схватиться рукой за шест, который крепился к морде, и выпрыгнул на лед.

Я подбежал к нему. Он сидел, не поднимаясь, и забористо, тяжело дышал.

— Голова закружилась,— объяснил он, когда я привел его в избушку.— Простыл, наверное, когда блудили после соболька. А может, у костра тогда просвистело.

У Картыкова поднялась температура. Я укрыл его шубой, раскочегарил печку так, что она стала малиновой и гудела, как дизель. А охотник все ежился и постанывал:

— Морозит, словно щипками все тело щиплет.

Натопил ему медвежьего жира, он выпил его.

Спал Картыков тревожно, со вскриками. Всю ночь шумел над избушкой, выл по-волчьи, скребся в дверь колючий, злой ветер — наворожили-таки собаки. Я беспокоился за Картыкова и несколько раз просыпался. Часов после пяти дерганого сна дрема прошла окончательно, и, вперив взгляд в темень избушки, я раздумался о спутнике своем по батлымским тропам. Толчок мысли дали наплывающие на меня в воображении ночные виды Западно-Сибирской низменности с самолета, море огней нынешней тюменской земли — искрящиеся громады домов в новых городах и поселках, нервные сполохи электросварки на трассах трубопроводов, парадные, розовые зарницы в облаках от газовых факелов, маячки проносящихся встречными курсами самолетов и вертолетов, извивы рубиновых цепочек огней стоп-сигналов автомашин, идущих по бетонкам вечерней отливной волной с месторождений в базовые города и поселки.

Цивилизация, индустрия этой земли, увиденная мной в теме-

ни таежного зимовья, выкованы были из дикой природы, которая теснится, сокращается под натиском человека шагреновой кожей. Редкими становятся здесь теперь представители охотничьей профессии. Исчезают охотники-промысловики мало-помалу, как птицы и звери, на которых они охотятся. Я не пессимист по натуре, и думалось мне в дальнем зимовье на Батлымке, что на смену древнему промыслу придут искусственное разведение, интенсивное управление дикими животными, птицей, охотники нового склада мышления. Пройдут столетия, наука шагнет далеко вперед, и, может быть, для изучения и поиска зверей изобретут неслыханные чудо-приборы, но и древнее как мир тропление следов зверя по снегу, лежащее на грани науки и искусства, не будет утрачено и забыто, и очень важным казалось мне запечатлеть в записках своих с таежной тропы «последнего из моги-кан» в Батлыме, человека, кому лесная его работа дает светлое ощущение сопричастности таинствам жизни сибирской тайги, ее удивительного и непостижимого никогда до конца, как вселенная, мира. Как никогда остро почувствовал я, что очень важно для нас не растерять ценное, что передается от охотника к охотнику из века в век.

Наутро мы устроили выходной день. Охотник отлеживался. К полудню выглянуло солнце. А после обеда к нам заехали два рыбака с верховьев. Они отправлялись в Батлым за продуктами.

— У нас тоже все на исходе,— озабоченно проговорил Картыков.— И мы с вами едем. Продуктами запасемся, передохнем немного.

Я быстро собрал рюкзак, и мы сели в розвальни. Дорога была еще ненаезженная (рыбаки неделю назад проложили первую колею), но каурая лошаденка резво бежала по просеке. Лоснились на солнце ее упитанные бока.

— Сейчас у ней силы как у буйвола,— повернулся ко мне Картыков.— Здесь ведь лошадь как корова в Индии. Словно священное животное. На все лето их в пойму, в полуденную сторону отпускают, и ходят они стадами, едят, дичают. И только в зиму собирают лошадей и в работу впрягают. В сезон, правда,

дела им много. Но северные лошади выносливые, все выдерживают.

Рыбак-возница озорно махнул кнутом и легонько стегнул лошадь по крупу.

— Веселей ты, Шурогайка!

Лошаденка стала чаще перебирать ногами. Через лес тянуло легким ветерком. Пахнуло смолистым ароматом сосны и снегом.

Выбрались наконец из лесу. По пойме лошадь пошла еще быстрее. Солнечные лучи уже скользили по равнине, слепили глаза. На крутом берегу вдали показался Батлым с косами вечерних дымов над крышами. Под горой, у крайнего порядка домов, Картыков увидел черные точки. Его воспалившиеся губы тронула улыбка.

— Мои короеды шастают...

ПОСЛЕДНИЙ ВОЛЧАТНИК

Не за то волка бьют, что сер,
а за то, что овцу съел.

Пословица

По случаю воскресного дня Анохин в белой рубахе-косоворотке, заломлен набок белый матросский берет, подаренный ему сыном приятеля-егеря. Мой спутник плотен и приземист, но чуть припадает на левую ногу, поврежденную во время охоты на волков. Дом его недалеко от конторы заповедника, в центре деревни, протянувшейся вдоль Хопра километра на полтора. С реки к порядкам домов подступают шелковистая зелень ветел, раскидистые купы листвы осокоря, свечи серебрящегося на солнце белотальника. С другой стороны сбегают с песчаных всхолмлений сосны. Воздух свеж и щемяще-сладок от запахов светлого хвойного сока — живицы. После города у меня хмельно кружится голова.

На подворье Анохина густой бурьян.

— Порядка не вижу, Василий Александрович,— говорю я с улыбкой.

— Мои хоромы — леса,— отвечает старик.— А за двор с бабки спрос.

В доме Анохина пусто. У окна в горнице пламенеет бархатом стол.

— За волчью шкуру получил эту скатерть. Были времена: в большом почете ходил я.

Мы сидим друг против друга. Теперь я внимательно могу разглядеть его лицо. С горбинкою нос, тяжелые плиты скул, живые серые глаза и старая рассечина на губе.

Я застал старого волчатника, о котором не раз писали в

газетах, называя его «волчьей смертью», не в лучшее время. Долго не мог разговорить его. Глядя немигающе в стену, Анохин густо пыхтел папиросой. Потом с силой по живому еще огню пригасил ее большим зароговевшим пальцем, да так крутнул им, словно хотел ввинтить в пепельницу-самоделку из крученого дуба.

— Соседский школьник как кипятком в глаза плеснул недавно: «Плохо вы жили, дядь Вася...» — сказал Анохин, неожиданно резко повернувшись ко мне. — Пустое брякнул мальчишка, на ветер, а скребнуло по сердцу меня.

Он опустил голову и теребил край багрово-огнистой скатерти.

— «Равновесие в природе, — говорит, — нарушили вы. Истребили волков, а они санитары». Кто-то говорил ведь ему! Растревожил меня. Я все думаю, мысли скребутся, как мыши... Получается, будто зря я прожил, вхолостую...

Анохин прикрыл глаза, возвращаясь памятью к далекому детству. Говорил сосредоточенно-тихо, с ноткой рассудительности, подбирая слова одно к одному, словно камешки в руках взвешивал: «Как же это все было?»

— Жили мы на Углянском лесном кордоне под Воронежем, — начал свой рассказ старый егерь. — И вот съели волки у нас лошадь одну да телку стельную. А время дореволюционное было, несладкое — и такая беда. Впору суму бери да по миру ступай.

«Ну, проклятые, погодите, ребята вырастут, дадут вам», — говорил отец, вытирая слезы, и грозил в сторону соснового острова, откуда приходили волки.

Работал он лесотехником у бар. К нему часто приезжали охотники. И в самые дебри наших лесов забирался я с ними. Мне лет восемь было — коротыш, юркий, как паучок. Все тропки знал. Не раз по следам волков ходил, лапы у них в комке в отличие от собачьих, «цветком». Много я про этих зверей узнал. Окота на них во сне мне снилась. Мечтал я стать таким, как друг отца егерь Илья Зобарев, которого барыня ножом с золотой ручкой наградила. Ухватистый был мужик, горбоватый, а ручки как гири. Врукопашную с медведем схватывался однажды. Любил я слушать его рассказы и с нетерпением ждал, когда сам буду настоящим охотником.

Вскоре о свержении царя заговорили в народе. Пришла революция. Взрослее стал я.

Однажды зимой собрал отец нас, братьев трех, и говорит: «Ну, ребята, выросли вы, пора мне на волков свою семью выставлять». И вышли мы на облаву. Я был загонщиком, стучал кожаными рукавицами, улюлюкал. А отец и два брата на номерах стояли, ждали, как поскачут на них дымчатыми мешками волки. Сначала один перекувыркнулся после выстрела, как заяц, потом второй пал, третий. Положили выводок, и надолго избавились мы от волков на Углянском кордоне. Отец очень гордился, что с сынами извел их.

В эту пору узнал я: известный охотник-волчатник, писатель Николай Анатольевич Зворыкин из Москвы приезжает охотиться к нам. А я уже был понаслышан о нем былей и небылиц. Рассказывали, что глазами завораживает он волков, гипнозом. Упросил отца, чтоб пустил он меня, — и к Зворыкину.

И вот облава. С волнением гляжу на Зворыкина, стройного, с коротко подстриженными усами и небольшой бородкой. Глаз его боюсь, колюче-зорких, как у истинного зверолова: подумает, что нечего мальцу тут делать, хотя егеря порекомендовали меня ему. Зворыкин подходит и по-тверски, певуче говорит: «Давай, дружок!» У меня и руки задрожали, первый раз в жизни номер получил. На облаву Зворыкин оркестр пригласил. Похоронный марш играли. Волки будто ошпаренные выскакивали — только листья за ними крутились. Один на меня вылетел. Стреляю. Заюлил он, себя за бок покусал и скрылся в чаще. Я чуть не в рев, едва сдерживаюсь. А по следу моего волка брат побежал. Минут через пять шумит вдруг: «Ого-го!» Метров сто пятьдесят прошел матерый и завалился. Жирнющий, на скотомогильнике отъелся. Пасть открыта. Зубищи как ножи.

Летело время, стал я самостоятельным, проработал год в Воронеже после ФЗУ, а потом поступил мастером химзавода в лесхоз. Не по душе пришлась мне вся эта канитель в пыльном цехе, в леса тянет. Ескорости организовался Хоперский заповедник, и меня порекомендовали туда егерем. Так и очутился я здесь, в Варварине.

В 1938 году в хоперские леса завезли с Дальнего Востока

пятнистых оленей. Прижились они тут. В войну, правда, оленям было худо, как и человеку. Не подкармливали, и скелет на скелете были они. Волков развелось много. И после фронта опять началась у меня егерская работа. Это была жизнь по тревоге, как на войне. Поступает известие о волках — на ногах я. И всегда с волками был. Благодарностей мне от народа было неисчислимо. Это большой подъем духа давало. Всегда и всюду испокон веку охота на волков поощрялась: много же вреда приносили волки, бедствие настоящее. И неудивительно, что волчатники были всегда уважаемые люди.

Известно, что волка не переупрямишь, его перехитрить надо, проявить ум, сноровку, характер, спортивный азарт. Сколько существовало только исконно русских способов охоты на волка. Из засидок его брали, подвывом, осенними облавами, когда на скаку с лошади ударяли зверя по переносью арапником со свичаткой. Стреляли из-под гончих волка, травили борзыми, напускали беркута. А зимние облавы с флажками, самолоры, капканы! С поросенком даже охотились. Сажали его в розвальни и беспокоили время от времени. Зря не теребили и не заставляли кричать как зарезанного. Достаточно, чтобы поросенок повизгивал. К саням на веревке привязывали для потаска еще рогожный кулек, набитый свиным или овечьим навозом. Все это привлекало волков, появились — не теряйся, стреляй... Сейчас забывать стали о таком опыте. Я его знал, по-разному охотился и отовсюду с добычей возвращался. Ну и находил я такие места — ледяные тропы волками набиты. Крепко я их изучил.

Волк умен. Способен знать, когда человек спит. Знает, что в дождь он дома, и в это самое время охотится. Приспособляется зверь, ворюга классный. Все понимает, куда и зачем ты — на работу или на охоту. Гремит коса — рядом волки — это им неопасно. Я специально приходил на подвывку, где косы точат. Ну что еще о натуре волков сказать? Шаги у волка редкие, меньше смотрит, чем слушает, — вроде как задумывается.

На пищу неприхотлив зверь. Мясца нет — лягушками будет питаться. Днем ловит их. Идет аккуратно, две лапы вместе. Придавит кузнеца и ест. От мыши и крысы не откажется, но это редкая добыча. Арбузы даже на бахчах жрет вовсю...

Самый хищный волк зверь, страшней тигра, я думаю. Возьмем наши леса. Живности тут развелось много. Так вот, оленей, козель, поросят едят волки. Бывает, как семечки лущают зайцев, прячут их, закапывают. До двух десятков подряд дают. Я собирал зайцев — обледенелые. Душит и душит их волк, зло, бесхозяйственно убивает.

У нас оленей много. Самый опасный для них период в оттепель зимой. Наст обледенелый. И режут их волки. Сотню могут уложить за ночь, а то и больше. И не поедают, внутренности повыхватят, остальное в пададь идет. Вот натура!

Выговорившись на первый запал, старик замолчал, и я обратился к нему с прибереженным вопросом:

— Страшно, когда волки вблизи воют?

Анохин спохватился:

— Извиняй-ка старика, надо тетрадь найти, там я голос волков записывал.

Он долго рылся в старом фанерном чемодане и отыскал ее.

— Страшно или нет, значит? Поймешь сейчас,— продолжал Анохин.— Главное в охоте на волка — уметь выть по-волчьи, или вабить, волкогудом быть. Вот матерого волка голос: «Пу-уыйю-юэазай». Самка как сирена воет: «А-ааыэазай». Переярок: «Ийаай». Изящный вой у него, звучный. Неделю перед охотой отрабатываешь голос, чтобы духу хватило. Особенно на «ай» здорово я могу выть. Рядом будешь, а затыну — мороз по коже пойдет.— Анохин завыл неожиданно, будто сиреной полосануло в комнате. Глаза у Анохина стали нехорошими, с зеленоватым волчьим огнем. От воя его мне стало жутковато. А старик раз-улыбался, довольный произведенным эффектом.

— Поохотился я всласть,— начал он снова рассказывать.— Сколько чудес было — все не упомнишь. Носом в меня тыкались волки. Со страху мочились, экскременты у ног оставляли. Охота на волков была моей основной, святой работой. А так я и лис ловил, и рыбачил, и кольцеванием птиц занимался в заповеднике, и бобров отлавливал для расселения в других местах, и барсуков, и кабанов, и енотов.

Волков мы вывели. Лет тридцать не было слышно их. И только нынче выводок обнаружился. На восстановление дело пошло.

Видел я, как галопом прошли они шагах в тридцати от меня, подпаленные с боков рыжиной, с черными ремнями на спинах. Зашныряли, разбойники! Забывать про волков нельзя. А то успокоились в заповеднике, в ус не дуют: волки — са-ни-та-ры. К модным поветриям надо с умом подходить. Волки хороши в диких условиях, где нога человеческая не ходит, в специально выделенных местах, где их сохраняли бы как вид. А сохранять волка тоже ведь надо: зверь-то интересный, красоты редкой. Глядеть любо со стороны. Большая лобастая голова, толстая шея, мощная грудь, поджарый живот, высокие и сильные ноги — любого хищника украсят. Волк — номер один из них, по моему разумению, бандюга лютый, но в «личной жизни» ведет себя образцово. Самец, как честный и ответственный мужчина, не в пример нам некоторым, трогательно заботится о воспитании молодняка. Все свободное время им отдает. Лижет малышню, насекомых на них выбирает. Учит добычу выслеживать, показывает, как нападать надо, убивать и терзать. Волки — звери не стадные, и нужно всему волчат научить для самостоятельной жизни, и голосовым сигналам, и в запахах разбираться. Некоторые охотники сухожилия волчатам, пойманным в логове, режут, чтоб скулили они и не могли убежать. И волк-самец на верную смерть идет, чтоб выручить только дитенка... Прямо какую-то человеческую заботу проявляет самка о супруге. Знал я одну такую волчицу: жамками кормила она своего беззубого старика, нажует, нажует. Без нее голодная смерть ему...

А в нашем заповеднике эти «санитары» — злейшие враги оленьему стаду. Берут хватко оленей — прокалывают клыками горло. Следить за стадом их, чтобы не было изболевших и уродливых, и человек сможет.

Чувствовалось, что Анохину давно хотелось излить перед кем-нибудь душу. И наконец-то он выговорился. По огню в глазах чувствовалась взбудораженность в нем. Так оживляется человек после мучительного застоя какого-нибудь, когда немеют душа и тело.

Заночевал я у Анохина. Разбудил он меня до солнца.

— Пойдем птиц послушаем.

Идем, оставляя след по серебряному, росистому лугу. Из-за

горизонта выкатилось оранжево-апельсинное солнце, и лучи его свечечно загорелись в каплях на травах и листьях деревьев.

Оживший лес звонок и радостен, слуху открывается нежно-певучая, как флейта, душа его. Травы, деревья, промытое дымкой рос волгло-синее небо наполнены щебетом, свистом, щелчками, руладами, бульканьем. С высот льется на землю дождь света.

— Утро — это же сама музыка жизни, — сказал с чувством Анохин. — Слышишь, слышишь? Кулик-лещаник кричит. И всегда умирает душа у меня от его зова. Горлица поет — сердце щиплет. Самец — прислушайся-ка — я-я-я, а она гуркует. А это витютень — голубиный отряд — гу-гу-гу. Витютеня голос — как кого-то давят... Не описать на человеческом языке, как оживляется лес.

Старик не мог скрыть волнения. Глаза его заслезились.

— Прекрасно все как. Жить бы еще, а я на вершечке.

Долго молчал, потом вскинулся и снова заговорил — глаза мечтательные, с туманцем:

— Много волнующих минут переживаешь на природе. Добычу ждать среди гущины лесной каково? Или ночь встречать? Тропинки, горы, лес — меркнет все, сверчки — жи-жи-жи, пустельга ночная, звери, гнус голос подают. И к полуночи только утихает эта музыка. Кто ее услышит? Человек, который ночь не спит. А у меня по ночам-то с волками самая и работа была. Как дома на природе я. И сейчас бы ей радоваться, но вспомнишь, что не у дел остался, да попрекают еще, как тот мальчишка, что навредил я природе истреблением волков, и мозгло становится на душе. Сидишь одинокий, как былка, и думаешь, думаешь. Мальчишка ладно еще, глупечик, мало разума пока. Читал я в областной газете выступление ученого одного. Он хлеще того заявил: «Смотреть на волка «через прорезь прицела» едва ли соответствует взглядам нашего передового социалистического общества». Вот куда замахнул! Обида в душе поднимается после таких слов, давит камнем, хоть вой...

...Через три года я вновь приехал в Варварино.

На ночь машина везла меня с егерями в урочище «Серебрянка», на отстрел диких кабанов. Остановились у края поля.

Машину отпустили и вскоре услышали, как хрустят побегами и варыкивают кабаны в подсолнечнике. Устраиваемся под соснами у дороги, встречать их утренней зорькой, когда пойдут звери в лес.

Тихонько переговариваемся, егеря и в беседе открываются каждый своим характером. Кряжистый и грузноватый брат мой Миша Алферов обстоятелен, нетороплив и прозаичен, как человек, который одинаково ровен в любом деле — в колке дров, косьбе и охоте. Высокий, подвижный Николай Сухарев импульсивен и взмахивает длинными своими руками, как крыльями. У Владимира Конькова худое, тонкой рисовки лицо, большие глаза таят кротость и невысказанный лиризм. Все трое малопомалу перенимали опыт волкования у Анохина и могут уже вабить.

— Пойдем волков слушать,— поднимает меня Коньков.

Утопая в глубоком песке, движемся дорогой через молодой сосняк, маковки его едва проглядываются на фоне серо-черного неба. Коньков наклонился с фонариком.

— Гляди,— говорит он,— свежие волчьи следы.

Отпечатки широких пяток и мощных когтей, заплывшие с краев песком, вели к реке.

Вдали на крутых берегах Хопра просвечивают огни Новохоперска. Темное небо в белых проталинах по горизонту от его света, от сияний электрических фонарей в Алферовке, Ильмене, далеком Борисоглебске. Звенящую тишину разорвал заполошный собачий лай в Алферовке. Коньков остановил меня. Спустился в темень к Хопру. Через минуту я услышал нарастающий пронзительный, как вой сирены, его голос — иы-ааа-а! Длинный ровный период, и он будто свечой взмыл вверх: о-оооо! Звеняще-громкая тишина, и аккорд за рекой — дружно, звонко, многогласо откликнулись Конькову волки. Старшие в стае ведут переливчатую мелодию, а молодняк скуляще взвизгивает, верещит — ай, ай, ай. По коже у меня поползли мурашки.

На обратном пути заворачиваем с Коньковым в засидку, где Миша Алферов натаскал уже для лежанки лапника и просматривал в бинокль местность, вживаясь в нее. На другой стороне поля, в углу леса, неожиданно грянул выстрел, через минуту

второй. «Уложил кабана Сухарев!» — воскликнул Миша. Мы побежали к нему по дороге вокруг поля. Он же летел крупными, маховыми прыжками через подсолнечник и выскочил прямо на нас. Дыхание у Сухарева зашлось, он только машет длинными своими руками, а сказать ничего не может. Скоро выяснили, что оказался он в стае волков, страх захлестнул его. Николай выстрелил наугад в огоньки глаз их и ринулся из окружения, не видя перед собой ничего, кроме пляски радужных красных кругов.

— Не было у меня еще таких встреч с волками, вой — одно, а тут совсем другое дело... — проговорил в свое оправдание Сухарев.

Это была уже другая стая волков. Они промышляли в Замельничном и в течение четырех месяцев весны и лета учинили три разбоя: задрали двух пятнистых оленей в силосной яме, трех телков прямо на колхозном базу разорвали, семь телят — в поле у хутора...

Днем я встретился с братом своим Степаном, сельским шофером, и он предложил мне зайти к председателю Новохоперского общества охотников и рыболовов Олегу Бажилину. Я нашел под горой кривое деревянное строение, где были расположены его кабинет и охотничий магазин. Широкий в кости, лобастый, в ладной зеленой спецовке, он с озабоченностью вышагивал из угла в угол по комнате и называл хозяйства, деревни, где уже наносили волки только в последние месяцы. Рассказал еще Бажилин о резервате волков, а им стал заповедник. В ушах у меня долго звучал недоуменно-вопрошающий голос Бажилина: «Для чего же в довоенные годы вмешались в жизнь хоперской природы и начали разводить тут оленей? Чтобы волков кормить ими?»

От Бажилина мне посчастливилось попасть в тот же день в парк заповедника, в деревню Калиновку, близ которой обитали зубры. И вскоре я наблюдал, как горообразными тушами из тумана двигались на кормежку дремучие, мрачные зубры с поблескивающими, как свинцовая дробь, глазами.

Потом я слушал егерей, которые завели речь о несовершенствах в делах заповедничества. Мрачные разговоры навеял заместитель директора заповедника по научной части Александр

Печенюк. Появлением своим он словно бы вдохнул энергию в хлопоты по поимке зубра и другие дела в зубропарке. Подвижный и напористый, Печенюк ходил быстро, но ступал между тем последопытски мягко. Ноги его были кривоваты, как у кавалериста, но это лишь подчеркивало цепкость и кошачью левкость Печенюка в движениях. Он выделялся и острым прицельным взглядом из глубоких глазниц и казался временами демоном, который закрутил все в вихре, определил настрой разговоров. Сыграла свою роль и волчатина, которой он угостил всех.

Печенюк был одним из тех в заповеднике, кто благоволил к волкам. Дома он выращивал несколько месяцев волчонка, вел наблюдения за ним. Зверь подрос и стал проявлять агрессивность. Печенюк сутки назад застрелил его, и в холодильнике у него появилась волчатина. Мрачная экзотика взбудоражила трапезничавших с Печенюком, и на языке у всех был волк. Присутствие его в разговорах заставило уйти в себя старого зверовода Гнучего. Он кричал, войдя через ворота в загон, зубра звал: «Гаврош, Гаврош, иди сюда, малый», а казался неврячим. Сосредоточенно-раздумчивое лицо его, кажется, вытянулось и напоминало по форме два повернутых друг к другу вопросительных знака. Пришел момент, когда мысли зверовода прорвались наружу. Стоя у стожка с сеном, он всплескивал руками, цокал, охал, рассказывая о своем детстве, о «золотом веке» в хоперских краях, когда зайцы и лисы по деревьям бегали, журавли, дрофы, как гуси, стадами бродили в травах, а в реке водились голавли и подусты в руку и на пятаки даже и на медные пуговицы клевали. Говорил Гнучий, что теперь волк сановником стал. По дебрям и завалам с корнями-выеоротнями не лазит, а бегаёт по дорогам, зимой ногу в сторону в снег сунет — глубоко, стряхнет ее и опять на дорогу.

— Резко уменьшается число оленей,— заявлял зверовод и скидывал брови, и усиливалась вопросительность в его лице.— Где табуны пятнистых оленей? Почему увидеть их — проблема теперь, кормиться на зеленыя не выходят уже? Загнали их волки в завалы и дебри. Недавно набрел на одну здоровую оленуху в лесу, лежит, бедная, и кровь у нее из бока свищет. А зимой такого красавца оленя на льду Хопра расхандошили. К обрыву

на мыс его выгнали, с кручи восьмиметровой прыгнул олень, а они ериками с двух сторон к нему, профессионалы разбоя. На палец сала у волков с такой пищи, на откорме они у нас. Тропы крутом набили, узловатые линии своих следов... А волчатники отстранены от дела. Миша Алферов, Коньков и Сухарев могли бы с ними схватиться. Анохин Василий Александрович захирел в забвении, а ведь богом был, волчьим бо-гом! Со слезами шли к нему люди, молиться готовы были. И он всех всегда выручал. Великий охотник! И-ии! Куда нам до него...

С щемящей болью подумал я об «опальном» волчатнике Василии Александровиче Анохине. По приезде в Варварино я узнал, что свалилось на старика горе — похоронил жену. Решил переждать с поездкой к нему. Брат Михаил поддержал:

— Надо, надо подождать. Ему сочувственные слова наши — вода сейчас, а горе водой не зальешь.

— Миша,— спросил я осторожно,— а не сорвет оно старика, не потеряется он?

— Не-е, не сорвется,— ответил он твердо.— Широкая, общественная душа у него, к людям тянется, а на миру не сгинешь. Природою душа живет у него. Дерево сохнет с корней, а они у него добрые.

У Анохина я побывал в последний день своего отпуска. Младший братишка Вовка стрелой домчал меня на мотоцикле в Варварино. Стучусь в знакомую дверь. Тягостная тишина. Потом услышал шаркающие шаги в сенях, звякнул крючок, и на крыльце появился Анохин в расклябанных бурках. Руки обвисли, сгорбленный, редкие волосы разметаны на голове, как солома под ветром. Василий Александрович повел запавшим слегка широким плечом, дрогнули плиты тяжелых скул его, высверкнулись губы зрачков, выдавая в старике прежнего крепкого и сильного хозяина хонерских дубрав и степных волчьих балок.

В большой высокой комнате пустынно. Красная бархатная скатерть, которую выдали ему когда-то за волчью шкуру, валялась в пыльном углу, а на столе — газеты. Он налил водки в стаканы.

— Выпьем за Дусю, помянем,— и захлебнулся на последнем

слове, горько, беззвучно заплакал, расплескивая дрожащей рукой водку.— Одна она меня понимала, душа соловьиная...

Успокоившись, старик заговорил о волках. Пожаловался, что не ходок он уже волковать. Но вскинулся вдруг и произнес с силой:

— А пошли вновь волчьи пожары, вспыхнули. Скольких бы охотников молодых мог еще научить я мастерству волчьей охоты. Хорошо хоть трое егерей наших чуть-чуть опыта моего переняли. А жизнь заставит за волка взяться. Во многих районах стал лютовать он. Добаюкались с ним, с мироедом серым.

— Ие-ых! — воскликнул он, захваченный эмоциями, и надсадно закашлялся, а потом утер выступивший на лбу пот и заговорил уже тихим, ослабевшим голосом: — Нельзя мне теперь волноваться, нет больше здоровья. Ушло оно с последним волком. В колхозе «Восток» у нас в конце января волки залезли по снежному наносу в овчарню и задавили 118 овец. По моему предположению, лютовала там одна из стай, обитавшая у нас в заповеднике. Пришел я к своему директору просить разрешения организовать товарищей егерей на облаву. Он закричал: «Сколько раз твердить тебе о санитарной роли волка в природе!» Мода-то на него давно вскружила головы научным сотрудникам. «Ну чего ты волнуешься,— говорит на прощанье директор мне.— Пенсию получаешь, квартирой пользуешься, сено есть». Взорвало меня: «Да что же мне теперь сено для успокоения есть?»

Через два дня после этого разговора пошел я в лес птиц на чучела пострелять для нашего музея природы, надо же у людей интерес к ней развивать, без интереса ведь человек — колода или жук, которому только деревья точить. Мелкой дробью взял, значит, и картечи заряд один. Вижу вдруг — свежие следы — волчьи и заячий. Плохи дела у косога с такими охотниками. Встал я на заячьей тропке. А подземок, под спину дует. Затрещали сучья в осиннике. Волчица заметила меня: услышал я, как гикнула она, знак опасности подала волку, а тот не слышит, вздыбил снег, ловит зайца. Поймал, барахтается косой в зубах у волка. Несколько сорок стрекочут уже на деревьях, поживы ждут с волчьего стола.

Придушил он наконец зайца. Тот, бедняга, захлебнулся —

хрык-хрык. Не выдержал я, плюнул на запрет директора и к волку бегом. А он на берегу Хопра, на самой кромке обрыва, и как сиганет вниз. Я влет выстрелил. Он приземлился и прыжками, на махах, неровными бросками с подпрыгиванием стал уходить, потом вижу, что на рысь перешел, а это верный признак тяжелого ранения. Ринулся я за волком, перемахнул на другую сторону речки, а там гор уйма, крутых, обрывистых. Собаки в деревне, в Алферовке, заливаются — та-та-та, ай-ай-ай: ветер волчий дух несет им. Без перемолчки бегу за ним. Догнал я его, он волочится уже, ослаб. А у меня только просо, мелкая дробь осталась, ею даже не расклюешь волка. Нож вытащил я. А волк метрах в трех, здоровила, широколобый, остромордый. «Бакенбарды» оцетинились от свирепости, в подмышках голубой пух видно. Зубы оскалил, язык меж клыков как жало. Рычит волк, хрипит, набрасывается на меня. Не одолеть, вижу, не взять мне руками его. Аж скулы свело от досады мне. «Вражина же ты такая, — думаю. — Сколько я жизни на вас положил, ползал, бегал и выл, винтом шел, ум напрягал, чтоб разгадать волчьих хитрости. Встретились — хоть здоровайся и щелкай зубами, как волк. Ну уж не уйдешь! Вышколил ты, вызнобил меня злом, разбойная твоя душа, — держись теперь! Болк волком не травится». Бросаю матерого — и в деревню. До своего дома сил не хватило дойти, к сватам открыл дверь. «Сходи, сваха, — прошу, — возьми шесть патронов у меня. Запалился». Она шубейку на плечи. «А ты, — говорит, — молочка поешь пока». Взял кринку, вроде теплое (с тридцати-то градусного морозу — ничего). Выпил — и к волку своему. Он дальше подобрался, к чаще чернокленной, уши наострил. Я шажками в такт ветру приблизился к волку. Хлоп! Лежит! Я к туше. Открываю патронник, а волк как вывернется да подмышку у телогрейки и вырвал мне. Я от него тягу. А снег страшно глубокий. На ходу патрон достаю. Снова выстрелил. Уложил наконец кабана этакое. Потух зеленый огонь в глазах волка. Ввалил я его на себя, тащил, тащил в горячке и упал, хватаю губами снег, а он огнем жжет, кажется. «Нет, не донесу», — думаю. До деревни ж километра три. Пошел за лошастью. Конюх окаянный не дает. «Вдруг начальство заругает. Нужно разрешение директора», — говорит. «Ну, пойду, —

думаю,— к директору. Не даст он лошадь. В браконьерстве еще обвинит, и такой сыр-бор разгорится. Ладно, буду нести свой крест». Пошел к волку. На спину его взвалил и тащу. Пот льет, жарко. Расстегнул ворот до конца. Ветер в грудь бьет, и даже горячо от него. Дотащил матерого, выдохся, а тянет меня в лес. Наваждение какое-то, горит душа на волчицу. Там же она, с зайцем! Отправился-таки, нашел это место. Подвывал, подвывал, осип, на шелест сорвал голос — не далась волчица на выстрел, старая, хитрая. На другой день я не вздохнул. Слег с крупозным воспалением легких. Сердце стало болеть. Ослаб. Как из-под угла жаканом стебанули. А раньше по три дня крепью лесной без усталости мог идти. Сейчас так не работают. «У тебя как у волка: ум в ногах»,— шутили товарищи. Я последний был...

Прощались мы с Анохиным на улице у калитки. У ворот его остановилась соседка, круглолицая низенькая старушка с развалом белых волос из-под платочка и кроткими голубыми глазами.

— Здравствуй, Петровна,— сумрачно поздоровался с ней Анохин, хотя едва уловимый блеск в глазах выказал душевную его теплоту к старушке.— Чего озаботилась?

Та глянула из-под руки на небо.

— Да утка, смотрю, летит одна — вон, во-он. Сиротка,— сказала старушка со вздохом и поджала губы. Потом снова вскинулась и глядела в небо с недоумением ребенка.— И как они не теряются на просторе таком?

— Птица этот простор в себе носит, потому и не блудит,— с серьезностью пояснил ей Анохин. И повел взглядом по порядку домов, дальним ветлам, голубой дымке неба, следу самолета. Долго и пристально смотрел старик, словно бы вновь открывая жизнь после слепых горьких дней.

Потом были новые походы Анохина по ближним лесам, первые стыдливые краски осенних нарядов их, буйство багрянца, шальные ветры, срывающие мокрые листья, осиротелость нагих ветвей, и старик переживал все это в себе, передумывал. Были тихие вечерние зори с удочками под ветлами и осокорями на Хопре, печальные стариковские думы, перемены в общественном мнении на проблему волка. Был и такой день в его жизни,

когда, шаркая стоптанными бурками, побежал Анохин с фельетоном в «Правде» к голубоглазой старушке соседке и с волнением стал читать ей о моде на волка, которая обрушилась на общество как стихийное бедствие, о звездном волчьем часе и о бесславном окончании волчьего бума. И с выверком в слезящихся глазах сказал:

— Нет, не зря я прожил, не вхолостую!

И вновь склонился седой головой над страницей со словами правды, которая все равно наружу выходит — и из-под золота, и из грязи.

А вскоре наступил скорбный для меня день: я получил известие из Варварина, что Василий Александрович умер. В один из недавних приездов в заповедник пошел на кладбище с егерями — друзьями старого волчатника.

На окраине леса, у границы со степью, откуда накатывали волны настоящего полынью свежего воздуха, мерцал в сумерках белесый дубовый крест. Под ним и покоился последний волчатник. Мы положили на пожухшую траву холмика букет астр. Один из егерей сказал дрогнувшим голосом:

— Может, душа его вьется над нами, а сказать ничего не может. Пусть земля будет тебе пухом, Вася...

ЛЕТЕЛИ КОТИКИ НА ЮГ...

Мы еще многому должны научиться, прежде чем надеяться на удачу.

Герберт Уэллс

Зиму морские котики паслись, промышляя минтая, кальмаров и головоногих моллюсков и анчоусов, в теплых водах у берегов Японии и Южной Кореи, а весной устремлялись по вечному «инстинкту дома» к своему чудо-острову — малюсенькому, затерянному в океанских просторах куску скалы. Находится он в Охотском море, напротив мыса Терпения на Сахалине. Первыми приплывали к земле своего детства матерые секачи. Тяжело отфыркиваясь, выходили они из пенного прибоя в своих бурых шубах. Устало оглядывали затянутый кисеей тумана и нескончаемого мелкого дождика пустынный берег, где родились они сами и вскоре вновь должны родиться их дети — большеголовые черненькие котята. Потом к лежбищу на Тюленьем добирался группами и поодиночке серебристый молодняк, выбирались из воды самки. Будто полинялые, серые, они были уже с детенышами во чреве и выходили на твердь измученные. Нетвердыми, припадающими скачками продвигались самки к гаремному пляжу.

Юрий Илларионович Орлов прибыл на Тюлений в один из солнечных дней августа, когда Сахалин после долгих дождей, холода и промозглости млеет от тепла и медвяно пахли вымахавшие в полтора человеческих роста травы, курился парок с громадных листьев лопухов-гигантов, под которыми можно было шагать, как под навесом, источали аромат крупные, интенсивно-розовые цветы шиповника. Тюлений — голый остров, покрытый кое-где саблевидной травой, о края которой можно порезаться.

Теплый ветер шелковисто шуршал желтым песком на лежбищах, гладил серебристые тела котиков, витал над скалистым плато, заполненным до краев морем кайр, похожих на пингвинов в своих белоснежных манишках при черных фраках. «Айр! Айр!» — неумолчно кричали птицы. Их гомон прерывался иногда громовыми взрыками секачей на лежище, вступающих в кровавые схватки из-за самок.

Впервые в жизни Юрий Илларионович увидел котика рядом. Громадная, лоснящаяся на солнце шкура с высоко вознесенной птичьей головой на могучей, толстой в основании шее. Она переходит в грудь с мощными плечами, от которых отходят в стороны два подобия тумб — култыши с длинными лопастями — ластами. Прогонистое тело котика кончается гибкой и мускулистой «талией» с большими перепончатыми ластами. Котик напрягся и смотрел в лицо человеку небольшими, широко расставленными глазами. Они, может быть, более всего поразили ученого. Юрий Илларионович уловил беспокойство в черной глубине их. Глаза зверя вопрошали, казалось: «Кто ты, с добром или со злом, что ожидать от тебя?» От этого пронзительного, почти человечески умного взгляда Юрию Илларионовичу стало не по себе, как будто он встретился с представителем неземной цивилизации, которую пытается найти человечество в просторах вселенной. «Вот ты каков, вольный сын океана», — подумал он. И взгляду человека представились качающиеся живые просторы, безбрежные воды, синие, зеленые, голубые, свинцовые, серебристые и черные волны, могучие валы с белыми гребнями пены. И как дома в этой стихии котики, по несколько месяцев они не выходят на берег. Плавают, и тогда видно их головы и шеи, лежат на спине и боку котики, высоко подняв над собой задние ласты, напоминающие большие черные руки, которые пугают суеверных рыбаков-японцев, играют — ныряют, прыгают по-дельфиньи, с изяществом совершают какие-то немислимые кульбиты.

На суше котики грузны и неповоротливы, вот и этот попытался убежать и брякается о землю, как прыгающий мешок. Выдохнул и остановился, ходят под кожей на груди бугры мышц, во взгляде боль, измученность. Потом глаза котика наливаются злобой, он приоткрывает красную, как у тигра, пасть, топорща жесткие

усы и выказывая громадные загнутые клыки. Но выбор уже сделан: этого котика надо отловить и с несколькими другими его собратьями переправить на берег Черного моря. На котика набрасывают аркан, прикрепленный к большой палке, целая бригада тащит пойманного зверя в клетку. Маленькие уши у котика плотно свернуты в трубочки и прижаты, одно из них повреждено и дает Юрию Илларионовичу основу для клички.

— Иди, иди, Рваное Ухо, не на смерть тащим! — кричит он зверю. Но котик не слышит его, глаза у зверя красные, шея в складках, плечи в буграх. Он судорожно скребет землю, вгоняя в песок с галькой лапы, на которых, как рука человека сквозь рукавицу, проступает пять пальцев. Котик упирается, извивается узкой хвостовой частью тела, задними лапами. Но люди сильнее его и приближаются с упругой тушей зверя все ближе и ближе к клетке. И бессильно бунтует против неволи все существо котика.

Долгая эпопея с котиками вспомнилась Юрию Илларионовичу на Пироговском водохранилище, когда он вылез из воды и обсыхал на песке, овеваемый слабыми струйками ветра, запахами размягченных жарю сосен, берез и трав.

Такого знойного лета, какое выдалось в этот раз в Москве, не бывало уже несколько десятков лет. Асфальт, кирпич и бетон раскалялись в полдневную жару, как песок в пустыне, в помещениях НИИ было душно, и вечером Юрий Илларионович ехал домой в Мытищи будто обескровленный.

Шестнадцать лет своей жизни он отдал работе в Центральной производственно-акклиматизационной станции Министерства рыбного хозяйства СССР. Из Пекина в Краснодар возил Юрий Илларионович Орлов белых амуров и толстолобиков, выловленных в коричневато-желтых водах Янцзы. Любовался в Приморье оранжевыми, красными и бордовыми красками неба и летел с крабами в багровый закат, догоняя солнце, в сторону далекого Мурманска. Экспедировал по воздуху из одного края в другой осетров, пелядь, леща, отправлялся с «кусочками» океана, реки, озера на борту самолета в страны Скандинавии и Иран, грузил живых угрей для СССР в Париже.

Годы путешествий с водными организмами оставили добрую

память в его душе, с печалью думал он только о поездке на остров Тюлений, не мог забыть боль в глазах котика Рвансе Ухо и его собратьев, полные неземной тоски и печали крики их в Батумском океанарии.

В последние недели на него свалилась уйма работы, довила жара. Мысли ученого обескрылели, он словно бы выпал из орбиты постоянных своих творческих исканий. Юрий Илларионович настолько уставал от оупляющей прозы будней, что ощущал вечерами вес своего мозга, казалось, что в голове помещен камень. И лишь на водохранилище в этот субботний день он почувствовал, что оморочь проходит и он вновь начинает жить и мыслить. Вновь потянуло его в клуб аквариумистов. Воображению Юрия Илларионовича представились толстые стекла аквариумов, в прозрачной толще которых среди растений с гигантскими листьями амазонки, вьющихся спиралей, ножевидных побегов стайками прелетали яркие молнии неонов, исполняли незамысловатый, как полька, танец желтые, с крапинами барбусы, притаились в зарослях похожие на запятые пицилобриконы, бабочками порхали яркие ремезии и, как призраки, вращались вокруг прозрачно-стеклянных окуней черные орнатусы.

Это были не обычные аквариумы, а приборы с замкнутой системой водоснабжения — «Нептуны». С ними члены клуба сумели побить все рекорды в стране по сбору икры карпят и других рыб. Создателям «Нептуна», одним из которых был и Юрий Илларионович, выдали авторское свидетельство на изобретение, и они мечтали внедрить свою установку в рыбоводных хозяйствах, работали над проектами рыбных парков, где можно было бы содержать все имеющиеся на земном шаре виды рыб, проводить с ними опыты, как это делается с растениями в ботанических садах, дендрариях.

Рыбоводство стало делом жизни Юрия Илларионовича, видного практика и теоретика отрасли. Возвращаясь мыслью к прошлой своей работе акклиматизатора, он думал: «Не пропали даром наши труды и усилия, хотя ошибки и были». Но в душе его вновь наступило смятение, когда он вспомнил о своей командировке за котиками...

Авиалерелет из Москвы в Южно-Сахалинск, Юрий Илларионо-

вич командует перегрузкой клеток для котиков в автомашину. И вот ровно гудит мотор ЗИЛа, дорога идет по живописной Сусунайской долине. Мягкие очертания гор и холмов, укрытых зеленой шубой аянской ели и сахалинской пихты, широколиственных — клена, бархата, маньчжурского ясеня, перевитых лианами лимонника и винограда. Долина залита светом ленивого августовского солнца. Вдоль дороги кругом буйные заросли высокотравника — медвежьей дудки, шеломайника, каких-то громадных зонтичных растений, при виде которых думается о флоре тропиков. Алеют крупные, как яблоки, плоды шиповника. Светлыми мелководными речками с галечным дном движутся, вспенивая воду, на нерест косяки кеты и горбуши. Рыбы идут, будто стада оленей, голова к голове. Экзотичный край! А где-то там еще котики...

У причала рыбацкого селения Стародубска их ждал заказанный по телефону из Южно-Сахалинска сейнер. Море было спокойным и гладким, отражение белого судна колыхалось на волнах, ломаясь на зеленовато-рыжих прибрежных камнях.

Сейнер ходко шел к острову с лежбищами котиков, пересекая залив Терпения. Быстро темнело, и вскоре море окутало плотная черная ночь, казалось, что во вселенной крошечной черни только и есть крохотный остров света — рубка этого сейнера, мерцающий компас. Юрий Илларионович почувствовал на мгновение даже себя в каком-то неземном мире, и ему вдруг подумалось: «Могут же быть в межзвездных просторах цивилизации в виде котиков. Могут ждать они инопланетян, тревожиться, найден ли будет общий язык, пользу или горе и беды принесет встреча с ними...»

В полночь сквозь тучи пробилась луна, и отражение ее ослепительно засверкало на воде ломаной дорожкой. Сумеречно искрились пенной гривой на свету судовых огней буруны от форштевня. Юрий Илларионович глядел на них, опершись о поручни, и пытался представить себе вид острова, который уже месяц жил в его душе, с того дня, когда директор Батумского океанария обратился к акклиматизаторам с просьбой привезти им котиков. Интересно же иметь у себя такого зверя, какого

нигде еще в искусственных условиях не содержат, люди на него любоваться будут. Юрий Илларионович сразу загорелся этой идеей: котиков никто еще не перевозил на такое громадное расстояние, а он любил новое. Юрий Илларионович первым придумал транспортировать молодь рыб в полиэтиленовых пакетах, и такие «купе» стали привычными для новоселов водного мира в разных районах страны. Тут тоже предстояло проложить путь в неизведанное, сыграть шахматную партию с природой, как выразился тогда склонный к образному мышлению Орлов, обрадовавшись предложению батумцев.

«Экспедиция сложная, беру с собой добровольца», — объявил Юрий Илларионович в коллективе акклиматизационной станции. Ехать на Сахалин вызвалась Валентина Петровна Керштейн. Он порадовался, глядя на эту худощавую женщину с калмыцким разрезом глаз, потому что знал — энергия в Керштейн клокочет, эта женщина не знает усталости, кажется, не умеет болеть, есть в ее характере способность к риску и авантюре, мужская решительность.

Утро встретило их солнцем, криками кайр. Остроклювые птицы были подобны веретенам с шилом впереди. Они ныряли за рыбой, летали. У удачливых свисали из клювов сверкающие лезвиями узких ножей серебристые рыбки.

Увлеченный снующими вокруг сейнера кайрами, Юрий Илларионович не заметил, как на горизонте, в туманной дали, где море сливалось с небом, всплыл похожий на брус, полого скошенный с одной стороны остров.

Полукилометровой длины кусок суши быстро приближался, открывая взгляду желтую песчаную полосу у основания — пляж, за которым возвышалось тяжелой плитой скалистое плато. С пятнадцати-двадцатиметровой кручи его снарядами ныряли на пляж и в море черно-белые кайры. Валентина Петровна мельком взглянула на своего шефа и не узнала его. Он подался вперед. Взгляд его был обычно спокойным, с легким туманцем, тут же глаза Юрия Илларионовича горели огнем первооткрывателя новых земель. И действительно, они прибыли на уникальнейший кусок земной суши, окрещенный Орловым в дороге еще планетой котиков.

Сейнер бросил якорь, и клетки для котиков перевезли к берегу на баркасе. Пройдя мимо барачков, Юрий Илларионович и его помощница поднялись по ступенькам, вырубленным в скале. Там, возвышаясь над общежитием и цехами по обработке шкур котиков, стоял серый дощатый дом, где размещался начальник промысла.

На крыльцо вышел длиннорукий человек в белой рубашке с растегнутым воротом и закатанными рукавами. Юрий Илларионович читал о нем в книгах и газетах. Литературный портрет был точен. Хозяину острова больше тридцати. Плотный. Черная голса переходит в мощную шею. Выделяются скулы, лицо словно пронаждачено ветром. Черные раскосые глаза. По устойчивому прищурю их видно, что это человек, привыкший постоянно смотреть вдаль. Он улыбается доброжелательно и снисходительно, чувствует, что привык покровительствовать.

— Владимир Леонидович Мануйлов,— назвался начальник промысла и крепко, до хруста стиснул руку.— И давайте сразу на «ты», проще.

Юрий Илларионович услышал блеяние и замер в недоумении: овец здесь быть не могло. Мануйлов пояснил:

— Котята это на лежбище, молока просят.

Разместив на складе имущество, приехавшие отправились знакомиться с островом. От дома начальника промысла на север до конца плато тянулась изгородь в рост человека. Она делила Тюлений надвое: западная часть — узкая полоса, восточная — широкая, тут было лежбище котиков. У границы плато на нем стояла будка, с которой ученые вели наблюдения за зверями. Мануйлов пригласил гостей к трапу, по которому они спустились со скального обрыва. Подъем на смотровую площадку, и перед глазами вся половина острова, где лежали и бегали, ласкались и дрались более ста тысяч котиков. Много зверей плавало в море, их головы виднелись среди волн до самого горизонта. Одни, перевернувшись на спины, покойно качались на волнах, задрав над водой ласты, другие кружились в хороводе, третьи гонялись друг за другом. Лишь самки с детенышами под охраной владык-секачей продолжали лежать на суше. Но жара доняла и их. И, будто сговорившись, гаремы поднимаются один за другим.

Изящные, серебристо-серые с бежевой подпушью тела котиков плывут в море. На песке становится пустынно. Лишь самцы, охраняя свои места, выделяются на пляже бурыми пятнами. Вскоре пустоты вокруг них заполняются освежившимися темными тельцами. Владыки поводят клювовидными головами, осматривают свои территории и, похоже, пересчитывают, все ли в их «семьях» вернулись домой. Какие-то пять котиков будут отловлены через два дня, покинут привычный родной мир. «Как перенесут они это?» — думает Юрий Илларионович.

В Стародубске ученый договорился, что тамошний рыбокомбинат пришлет за котиками катер, подготовит две грузовые машины и около двухсот килограммов льда — все предупреждали Юрия Илларионовича, что котики очень боятся жары. Покамест же он наблюдал за ними и продолжал вживаться в образ объекта перевозки.

Раздумья Юрия Илларионовича прервал Мануйлов, который повел гостей знакомиться с потайными ходами под лежбищем. Прошли по одному из тоннелей в песке, обшитому досками и распертому брусьями. Небольшое расширение — и пляж, усеянный котиками. Отсюда на рассвете промысловые рабочие, вооружившись палками-дрыгалками, как их зовут здесь, в полнейшей тишине пробираются к лежбищу холостых, не имеющих еще семей котиков и, вытянувшись цепью, отпугивая зверя от воды шумом, стуком, криками, миганием электрических карманных фонарей, гонят его на забойную площадку. Промысел ведется под наблюдением ученых-биологов, и ни одного лишнего котика не берут. Самое ценное у котика — превосходный мех. На Тюленьем ведут грубую обработку шкур и посылают их на Ленинградскую меховую фабрику. Там шкуры окончательно выделывают и отправляют для продажи на международные пушно-меховые аукционы.

Пришло время отлавливать котиков. Группа людей, руководимая Мануйловым, прошла тоннелями к лежбищу. Ловцы отсекали от стада пять котиков, потом стали определять, самку или самца заарканили. Юрий Илларионович помогал рабочим, а Валентина Петровна отмечала в блокноте: самец — кружочек с крестиком внизу, самка — кружочек со стрелкой сверху.

Котики были в основном двухлетние, но попалась и одна четырехлетняя самка, которую Юрий Илларионович и назвал Рваным Ухом. Она вела себя беспокойно в клетке, сильно рычала и пыталась грызть железные прутья.

— Наверное, у нее щенок,— решил Мануйлов,— а он без самки может погибнуть.

Юрий Илларионович решил взять и щенка, может быть, и удастся его вырастить. Самка хрипловато блеяла, зовя своего щенка. Ловцы поймали одного детеныша, который, как им показалось, наиболее рьяно отвечал на зов матери своим тоненьким голоском. Когда его принесли, он наивно глядел на людей черненькими глазами и не убегал, а, наоборот, словно просил, чтобы его взяли с собой — жалостливо мекал, раскрывая розовый рот, и тыкался прохладным носом в ладони Юрия Илларионовича. Ластился щенок и к опустившейся перед ним на корточки Валентине Петровне.

— Иди ко мне, лапочка ты моя,— приговаривала она и гладила его по блестящей черненькой спинке. Валентина Петровна устроила щенка в отдельный маленький ящик, и котиков стали переносить к причалу.

Воздух над островом был насыщен бусом — мельчайшей водяной пылью. Огромное лилово-красное солнце тяжело поднималось из тумана, оно словно вязло в нем. Моря не было видно, и казалось, что это серый туман выплескивается под ноги накатом пенных волн. Было трудно дышать. Тело Юрия Илларионовича покрылось холодной испариной, он начал зябнуть. Подергивала плечами от заползающего холода и Валентина Петровна. Мануйлов же сообщил им, что это самая лучшая пора для котиков.

— Нам такую в самолете не создать им,— с удрученностью проговорил Юрий Илларионович начальнику промысла.

В условленное время катер появился уже у берегов Тюленьего, но его не было видно из-за тумана. С катера все время подавали гудки, и баркас, на который загрузили клетки с котиками, пошел на эти сигналы. Вскоре катер взял курс на Стародубск.

За ночь Юрий Илларионович несколько раз спускался с Мануйловым на палубу. Скользили лучами фонариков по клеткам. Котики просыпались, недовольно ворчали. Юрий Илларионович распорядился поставить клетки поближе к носу, чтобы до них долетали брызги от волн, разбивающихся о корпус судна, соленая влага действовала на котиков умиротворяюще, потому они и спали в дороге.

— Вот бы научиться разводить котиков,— с мечтательностью сказал Юрий Илларионович Мануйлову в рубке.

— Я сам об этом думаю часто,— вскинулся начальник промысла.— Планы уже кое-какие есть. Люблю я котиков. Очень интересные звери. И забойкой поэтому тяжело заниматься мне. Я бы тоже хотел возить котиков и разводить их. Может, в неволе там, в океанариуме, появятся котята?..

В Стародубске, перед броском до Южно-Сахалинска, клетки еще раз окатили водой, а сверху набросали льда.

У клеток собралось много любопытных, жителей Стародубска. Слышались разные реплики:

— Во мху их надо везти, а не так.

— Загубят они котиков.

— Поручили каким-то интеллигентам.

С рыбозавода прислали два грузовика. Быстро погрузились, можно отправляться в путь. Юрий Илларионович попросил шоферов ехать медленнее, и машины несколько часов с мелкой дрожью ехали по гравийной дороге. Эту часть путешествия котики перенесли стойко, хотя их изрядно потрясло, и были они взъерошенные, возбужденные.

В Южно-Сахалинске акклиматизаторов дожидался, как и было условлено, директор Батумского океанариума Давид Аббасович Микеладзе, шустрый, но, как пришлось убедиться в аэропорту уже, не очень обязательный человек. Он радостно взмахивал руками, увидев Юрия Илларионовича и Валентину Петровну, потом мелким бесом крутился у клеток с котиками, приговаривая:

— Вот вы какие, милашки, вот вы какие, мордуленции.

— Как дела с авиацией? — спросил его Юрий Илларионович.

— Полный порядок, договорился, сейчас летим,— ответил Микеладзе, с почитательностью и даже некоторым подобострастием взглянув на ученого. Оказалось, однако, что с Аэрофлотом еще предстояло решить немало вопросов.

Начальник отдела перевозок аэропорта отказывался сажать акклиматизаторов на рейсовый самолет и уговаривал их отправиться спецрейсом хотя бы до Хабаровска. «Это надежнее: в полете вам легче будет поддерживать нужную для котиков температуру»,— убеждал он Орлова скороговоркой.

— Наша станция не банк Рокфеллера. Слишком толстыми будете,— прервала его Валентина Петровна,— вы готовы за каждый оборот винта по рублю с клетки брать. Мы не тюки с золотом везем. Ясно вам?

Аэрофлотский чиновник снисходительно повернулся к женщине, но тут же съезжился под ее колющим взглядом и уткнулся в бумаги, согласившись оформлять документы на рейсовый самолет.

— Но только до Адлера, а не до Батуми,— едко сообщил он.— Там как хотите добирайтесь.

— Там будет все нормально, полный порядок, я обо всем договорился,— успокаивал Юрия Илларионовича и его помощницу Микеладзе.

Сложность возникла с установкой клеток. Юрий Илларионович предложил поместить их в гардеробном салоне. Но Валентина Петровна отговорила его:

— Там котикам будет душно, и пассажиры интересуются начнут и беспокоить их.

Решили поставить клетки в нижнее багажное помещение, в брюхо самолета.

— Температура и давление воздуха там будут такие же, как в пассажирском салоне,— заявил командир экипажа,— и оснований для беспокойства нет.

Единственное, что акклиматизаторы лишались возможности наблюдать за своими подопечными во время полета, поэтому Юрий Илларионович и его помощница волновались всю дорогу. Юрий Илларионович поглядывал в иллюминатор на стада туч,

продвигавшиеся к материку, светло-зеленоватые куртины моря, открывающиеся в просветах. Он ерзал в кресле и думал: «Когда же кончится вода и пойдет суша?» Ему будто воочию представились заставленные шкафами, заформалиненными в склянках Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, куда он пришел проконсультироваться, разузнать подробнее, что же это за зверь такой котик, каковы особенности его жизни и поведения.

Одним из самых авторитетных специалистов по этим вопросам оказался художник-анималист, биолог Николай Николаевич Кондаков, и Юрий Илларионович сразу же встретился с ним. Поглаживая черную лопатообразную бороду, тот заговорил:

— В цирке их нет, видимо, потому, что однажды они по неизвестной причине очень быстро погибли. Этот случай произошел во Владивостоке, и я сам был свидетелем его. С той поры, наверное, дрессировщики и опасаются работать с котиками.

Кондаков порылся в столе и подал Юрию Илларионовичу желтую вырезку.

— Посмотрите-ка ее.

В заметке из сатирического журнала говорилось, что, когда собирались праздновать юбилей Командорских островов, 125-летие со дня открытия их Берингом, решили выпустить специальный значок и на нем изобразить котика. Заказ на изготовление значка направили в Москву, попросили, чтобы главным в нем стал облик котика. Художник был далек от зоологии и, дав волю своему воображению, нарисовал морского кота с большим пушистым хвостом, по аналогии, вероятно, с Васькой-мурлыкой, который жил у него в квартире. С таким котиком значок и попал к возмущенным камчадалам и командорцам. Хвост у морского кота также не вязался с его обликом, как если бы он красовался из-за брюк самого художника. Теперь значок очень ценится среди коллекционеров.

Кондаков вновь открыл стол, попередвигал что-то в нем и подал Юрию Илларионовичу командорский значок.

— Дарю его вам как биологу, которому предстоит работать с котиками.

Юрий Илларионович нервно поглядывал в иллюминатор, с нетерпением ожидая встречи с сушей, хабаровским аэропортом. Он думал о котиках, которые сидели сейчас в темном багажнике, и его охватывала паника: «Зачем я согласился везти этих котиков... в мешке? — корил он себя. — Ничего не случилось за все годы работы на акклиматизационной станции, а тут... погибнут котики. Позор на мою голову. Может быть, они уже погибают и ничем не помочь зверям...» Юрий Илларионович подумал о крабах, с которыми летал из Владивостока в Мурманск. Он лишней раз убедился тогда, что все живое требует особой заботы, когда отрываешь его от родной среды. Во время перевозки крабы скапливались на дне походных аквариумов-канов, нарушалась «техника безопасности». Чтобы крабы не калечили друг друга в пути, Юрий Илларионович предложил надевать им на ноги «перчатки» — короткие резиновые трубки. Это было безопасно и даже красиво — трубки из красной резины очень шли к красным колючим панцирям крабов. Акклиматизаторы полностью освоили биологическую технику перевозки их. Сотни взрослых самок с икрой проносились на реактивных лайнерах над страной. Потом в прибрежье Баренцева моря крабы — большие и малые — разминали затекшие в пути клешни-ноги и важно, не спеша удалялись в зеленые глубины. Они успешно осваивают сейчас новый район жизни.

Вконец расстроенный Юрий Илларионович мысленно анализировал все, что знал о котиках, и сопоставлял это с обстановкой отлова, когда они могли прямо на песке «сгореть» в своих «жировых тулупах», с болтанкой в машинах и перепадом давления в самолете. Ученый приходил к выводу, что перевозка должна завершиться благополучно. Но это только мысли!

Наконец-то Юрий Илларионович увидел клубы по-вечернему серых облаков, плывших уже где-то над Китаем. Под крылом самолета появились матово-серебряная лента Амура, три гряды, ведущие к нему, на которых, как на китах, устроился тремя главными красивейшими улицами центр Хабаровска. Только самолет сел и подкатили трап, Юрий Илларионович с помощницей первыми выскочили на него и побежали к багажнику. С нетерпением ждали, пока его открывали.

В багажнике было темно и тихо. У Юрия Илларионовича перехватило дыхание, он замер, Валентина Петровна стояла белая. Шеф ее судорожно направил луч фонаря в темень. Котики лежали и не двигались. Неужели они погибли и это финал?

И тут раздался голос щенка. Котики, оказывается, крепко спали, и он проснулся первым и тонко взблеял, прося молочка.

— Лапочка ты моя! — воскликнула сорвавшимся голосом Валентина Петровна, которая была готова расцеловать щенка.

Попросыпались старшие котики. И тут Юрий Илларионович с помощницей с удивлением обнаружили, что они дрожат, хотя температура воздуха в Хабаровске была в этот момент плюс 24 градуса. Вот тебе и раз!

— А мы-то боялись, что котики «сгорят» от высокой температуры! — воскликнул Юрий Илларионович, и они срочно принялись убирать весь лед из клеток.

Трехчасовая передышка на складе аэропорта, и котики взлетели на Адлер. Самолет летел почти с такой же скоростью, с какой ночь проносилась над землей. На рассвете, перевалив заснеженные горы, он развернулся над морем и приземлился на бетонной дорожке адлерского аэропорта. Уши у Юрия Илларионовича и его спутницы побаливали, и они их продували, зажав носы пальцами. «А закладывает или нет уши котикам?» — думалось им обоим.

— Давид Аббасович,— обратился Юрий Илларионович к Микеладзе.— Здесь вы обещали устроить нам зеленую улицу.

Микеладзе побежал в отдел перевозок, а акклиматизаторы перевезли зверей к складу и поставили клетки в тень. Возвратившийся вскоре Давид Аббасович морщился, как будто съел целую гроздь недозрелого винограда. «Значит, «полный порядок!» — чертыхнулся про себя Юрий Илларионович. Оказывается, до Батуми не летали ни самолеты, ни вертолеты, не было возможности попасть воздухом и в Сухуми. В отделе перевозок Юрию Илларионовичу заявили:

— Вы у нас не транзитники и добирайтесь как хотите.

— У нас котики же,— попробовал воззвать к чувствам работ-

ников авиаслужбы ученый.— Для всех вас польза будет от них, для общества.

На него поглядели как на инопланетянина и сухо сказали: — Котики ваши, вы о них и думайте.

Микеладзе виновато оправдывался и предлагал нанять какую-нибудь грузовую машину до Сухуми. Акклиматизаторы от этого варианта отказались: много риска, целых 250 километров ехать на открытых машинах по южной жаре.

Но опасность надвигалась уже и с другой стороны. Солнце поднималось все выше и выше, тень уходила с эстакады, где стояли в тени клетки, а термометр показывал двадцать четыре градуса.

Последние кусочки льда, которые Юрий Илларионович и Валентина Петровна сохраняли в полиэтиленовых пакетах, растаяли. Котики лежали на спинах и обмахивались лапами, как веерами. Из картонной коробки доносился писк кайрят, которых Юрий Илларионович обнаружил только в Южно-Сахалинске. Валентина Петровна проявила инициативу на Тюленьем, где надумала привезти в океанарий еще и личный подарок. «Пусть детишки, посещающие его, посмотрят и на этих интересных птиц — кайр», — думала она. Опасаясь, как бы Юрий Илларионович не запротестовал против этого, она до времени тайлась с кайрятами.

«Неужели мы не доведем котиков живыми?» — с удрученностью думал Юрий Илларионович и представлял мысленно картину происшедшего с его товарищем, который доставлял в Москву крокодила с Кубы и увидел его после приземления в Домодедове безжизненным и холодным...

Выглядел Юрий Илларионович как-то нескладно, левое плечо было вздернуто, правое опущено ниже обычного уровня. Сказались годы работы на акклиматизационной станции, переносок живого груза, когда основная тяжесть падает на одну руку. Сейчас Юрия Илларионовича кривила еще и невротрепка с дальнейшей транспортировкой котиков.

Неожиданно Юрий Илларионович вспомнил, что в Керчи, в системе рыборазведки имеются самолеты и там его немного знают. Он побежал на почту и дал телеграмму в Керчь с прось-

бой выручить. На успех он не надеялся и телеграмму послал скорее от отчаяния.

Вернувшись к складу, он увидел около клеток с котиками огромную толпу любопытных. Юрий Илларионович таксе обстоятельство предугадывал и повесил у эстакады табличку-плакат, который быстро написала фломастером Валентина Петровна. «Не шуметь! — призывал он. — Котикам так же нужен сон, как и людям». Вдобавок к этому они огородили эстакаду ящиками из-под фруктов, которые, однако, не всех останавливали. И один любопытный поплатился за это. Он подошел к клетке Еваного Уха и стал его передразнивать. Тогда этот, самый крупный из всех котик фыркнул на насмешника, и прямо в лицо ему вылетела густая белая масса слизи. Под общий хохот толпы тот побежал искать воду, чтобы умыться.

А Валентина Петровна, запикивая в коробку кайрат, которые то и дело пытались выскочить из нее, заметила Юрию Илларионовичу:

— Простудили мы, наверное, этого котика льдом. Смотри, какой у него насморк.

— Вот тебе и «необходимость поддержания низкой температуры», — ответил он с прицокиванием. — Не учли мы, что на льду-то котики лежат весной, а в августе им лед ни к чему.

Солнце между тем поднималось все выше и привлекало сильнее. Появилось все начальство аэропорта, но хождения Юрия Илларионовича по кабинетам и в этот раз ничего не решили. Теперь положение становилось критическим. Юрий Илларионович ощущал уже бег времени, как ток крови, и синяя жилка тревожно дергалась на его виске. На самолет авиаразведки он уже не надеялся: времени прошло много. Надо было искать грузовую машину. «Поставим ящики один на другой и поедем, — думал он. — Ночью будем в Сухуми, а оттуда постараемся попасть в Батуми на самолете. Но дотянут ли котики до ночи? Промашут ли благополучно лапами весь этот жаркий день?»

— Где здесь коты? — прервал грустные размышления Юрия Илларионовича чей-то громовой голос. Он оторвал взгляд от земли, потом пришлось еще и поднять голову: прямо над ним

возвышался, нависал огромный дядя, оказавшийся пилотом рыбо-разведки. Он солнечно улыбался и казался несчастным акклиматизаторам самим богом, который спустился с неба к эстакаде этой у склада, чтобы спасти их.

Складской начальник напомнил акклиматизаторам об оплате за дальнейший полет. Но его прервал Бог:

— Не позволю обижать рыбную промышленность,— забасил он.— Самолет арендован на весь год, и вам сполна уплачено за него. Скажите спасибо, что я вас в шашлык не превратил за бездушное отношение к зверям.

Он взглянул на измученные, серые лица Юрия Илларионовича и его спутницы и с металлом уже, чеканя слова, добавил:

— И — за бездушие к людям, которые их сопровождают.

Через несколько минут счастливые, растроганные до слез Юрий Илларионович и Валентина Петровна со своими подопечными летели над морем. Пилоты показывали им хорошо просматриваемые сверху рыбные стаи — вытянутые темные пятна на светло-зеленой морской глади. Радист привычно передавал координаты нахождения этих стай на рыболовецкие суда.

Акклиматизаторы не тревожились теперь за жизнь котиков и рассматривали с неба Черноморское побережье. Вот уже пошла знаменитая Пицунда — лесистый полуостров с раскидистыми соснами, элегантными корпусами курорта и пансионатов, галечными пляжами с повторяющей извивы береговой линии строчкой бамбуковых зарослей, крестово-купольным храмом древнего города Питиунта.

Внизу проплыла мутная Риони, и за Зеленым мысом показался Батуми.

В аэропорту экспедицию с Сахалина встречали директор Грузинской научно-исследовательской станции по морской фауне Леонид Элисбарович Пуладзе и сотрудники океанариума два брата — Роин и Гоги Иосава. Высокий и важный, Пуладзе шел к самолету первым, выставив грудь вперед. Роин и Гоги отставали из этикета на полшага, дополняя начальника интересным дуэтом характеров. Роин был высоким, решительным, задиристым, Гоги — помягче, покладистей, ни того, ни другого в отличие от Пуладзе не обременяло высшее образование.

При встрече Микеладзе каким-то образом оказался впереди Юрия Илларионовича и Валентины Петровны, потом он петушком подскочил к Пуладзе, затем таким же манером крутанулся около клеток с котиками.

— Получайте котиков, друзья,— заявил он возбужденно встречающим.— Шесть штук, все живые,— добавил он со значением.

Утром акклиматизаторы сразу же пошли к бассейну проверить состояние котиков. И Юрий Илларионович и Валентина Петровна привыкли к ним за дорогу как к близким людям, родственникам, и почувствовали, что расставаться с ними тяжело. Юрий Илларионович вспомнил, как однажды оставляли они с женой надолго дочку у чужих людей и долго потом переживали.

Четыре взрослых котика и щенок спали прямо на воде вверх животами, прикрыв их передними и задними лапами. Рваное Ухо один возлежал на площадке отдыха. Глядя на них, Юрий Илларионович подумал: «Кто доглядит за вами, как мы? Микеладзе? Чужие вам все тут...» На душе у него было мрачно, заныло сердце: он словно предчувствовал, что с котиками случится непоправимое.

К акклиматизаторам подошел Роин, у него оказалась перевязана рука. Утром он решил, как выяснилось, накормить щенка сгущенным молоком, но тот поднял скандал и прокусил докучливому покровителю руку.

Днем котиков попытался кормить Гоги, он принес зверям рыбы, но те ее не брали: им, видимо, было пока не до этого. Котики беспрестанно чесались и мылись, приводя себя в порядок после долгого пути.

Юрий Илларионович и его спутница взяли билет на Москву, когда убедились, что котики начали есть рыбу. «Свежей кормите их, только свежей рыбой», — наставлял на прощанье Юрий Илларионович Микеладзе, который картинно таращил глаза, всплескивал руками и приговаривал: «Дорогой, кацо милый, как можно гостям дохлую рыбу давать?..»

В Батуми Юрию Илларионовичу удалось выбраться вновь почти через год. Он отправлялся туда в командировку, но прежде должен был заехать в Севастополь, в Институт южных морей.

Там Юрий Илларионович не преминул заглянуть в аквариум. К его удивлению, в центральном бассейне, в котором раньше плавали осетры, резвились два морских льва, очень похожие на котиков.

Наступило время обеда, и в помещение аквариума вошла женщина с двумя ведрами воды. Она обошла бассейн по кругу, и львы в точности повторили ее путь.

— Где мой Яшенька? А где Алешенька? — певуче и ласково проговорила она.

Львы высывались из воды, трясли гривками.

— Сейчас я вас накормлю, сейчас, мои хорошие, — успокаивала она их. И направилась в служебное помещение.

Юрий Илларионович представился женщине.

— Валентина Николаевна Пилецкая, — назвала она себя. — Десять лет проработала ассистентом у дрессировщиков Сидоркиных, теперь здесь.

Выглядела Пилецкая устало и болезненно, и вскоре Юрий Илларионович знал причину этого.

— Зверей я знаю лучше, чем людей, — говорила она, приготавливая рыбу к разделке. — Я знаю, когда и как их кормить, вижу, когда они больны. У меня хорошие пальцы, я легко различаю, какую рыбу можно давать зверям, а какую нет.

— Как это? — удивился Юрий Илларионович.

— Если рыба плохая, у меня кончики пальцев щиплет от нее. Если же я сомневаюсь в качестве рыбы и не могу определить пальцами, жую, пробую на зуб. Я за львами у Сидоркиных, как за детишками, ухаживала, и они меня очень любили. Но потом я заболела, перенесла операцию и не смогла вернуться к своим морским львам. Попросила работу полегче. Директор цирка пошел мне навстречу: предложил медведей кормить. Не ожидала я этого от него, и сами понимаете, что обиделась. И ушла оттуда. Приехала с мужем в Севастополь, я решила больше со зверями не работать. Но тут из Южной Атлантики пришло рыболовное судно «Наташа Ковшова», и привез экипаж его институту этих вот самых двух львов, они в сети попали вместе с косяком рыбы. А в институте львам худо пришлось. Кандидатов и докторов наук много, но они как что поймают — норовят быстрее в банку с фор-

малином посадить. Не умеют с живыми существами работать. Вот и дошли у них львы. Довелось мне случайно увидеть их тут — в чем и душа держится, не поняла. Давай их отхаживать сразу. Пригласили меня на работу в институт, и я не отказалась. С тех пор и вожусь с этими львами. На кого их оставить? Заморят без меня.

Рассказывая о судьбе львов и своей, Валентина Николаевна проворно срезала у рыб все острые плавники, убирала даже езе ваметные шипы.

— Пойдемте к бассейну,— пригласила она ученого.— Посмотрите сейчас, как кормить буду. Вы их, я уже заметила, не раздражаете. Некоторых мои львы сразу почему-то не воспринимают. На днях одного старика попросила уйти из аквариума. Не поглянулся он львам, и рычали они, из воды выскакивали. Не успокоились, пока не ушел. Может быть, старик похож на того человека, какой им больно сделал когда-то, обидное что-то. А может быть, они биотоками чувствуют неприятное для себя в нем...

Валентина Николаевна бросала львам рыбу, они поочередно прыгали за ней по ее приказам и с прилизанными водой темно-бурыми гривками выглядели как примерные школьники на уроке.

— Видите, как работают ребята,— похвалилась довольная Валентина Николаевна, и легкий румянец залил ее впалые бледноватые щеки.— Хорошее питание — прежде всего,— пояснила она Юрию Илларионовичу, унося пустые ведра.— В море ведь звери едят что им хочется. В Батуми вот котики в один день погибли от плохой рыбы.

От этой новости у Юрия Илларионовича потемнело в глазах. Он выскочил на улицу и помчался на автостанцию. В ушах у него звенело, перед глазами плясали красные радужные круги.

С тревожным сердцем подходил Юрий Илларионович к океанариуму, и вдруг уши его резануло: «Бэ-э-э!» Это было бляение котика Рваное Ухо. С губ Юрия Илларионовича произвольно, от нервного напряжения сорвались звуки смеха, похожие на бля-

яние. Проходивший мимо молодой грузин посмотрел на него как на психического больного.

Дым оказался не без огня. Щенка и трех котиков уже не было. В живых оставались самка Рваное Ухо и самец-двухлеток. И те отравились и долго болели. В день прибытия Юрия Илларионовича они имели уже завидный аппетит и могли глотать рыбу бесконечно. Так, по крайней мере, казалось одному из братьев — Гоги, который в периоды нападавшего на него особенно благодушия ловил котикам удочкой на гирлянду крючков скумбрий. Этих рыб он предпочитал ставриде: веретенообразная скумбрия нравилась ему за цвета — горбоватую спину и перламутровое, с красноватым золотистым оттенком брюшко.

Гоги и пояснил ученому из Москвы, что котики погибли от плохой пищи. Несколько дней был шторм, и свежая рыба кончилась. А тут еще празднование Октября началось, и четыре дня в океанариуме никого не было, кроме дежурного, который мало что соображал в кормлении котиков и дал им залежавшейся рыбы. «Я думал, что звери сами знают, какую им рыбу можно есть, а какую нельзя», — оправдывался он потом.

Пока Юрий Илларионович разговаривал с Гоги, котики радостно плескались и, ловко изгибаясь, тщательно мыли свои тела.

— Они как малые капризные дети, — говорил Гоги. — Пока стоишь рядом и разговариваешь с ними — молчат. Стоит отойти — кричат, спасу нет. Никто на станции не выдерживает этого, работа останавливается. Далеко в городе слышно котиков, и из горисполкома звонят Пуладзе: «Что вы там делаете со зверями, почему они кричат у вас? Издеваетесь, мучите?»

На следующий день Юрий Илларионович услышал, как закричали котики. И были в их криках вой, стон, что-то трубное, зовущее. Они звали далеких братьев с Тюленьего, кричали о воле, планете Котиков, об обществе себе равных.

У Юрия Илларионовича родилось в душе чувство вины за такую судьбу зверей. В воображении ему снова представился остров Тюлений, похожее на брус со скошенным краем плато из прессованного глинистого сланца, стоящие на нем, как пингвины, тысячи гомонливых кайр и лежбище котиков на пляже.

Ученый остро почувствовал в этот момент, что зря так легко согласился ехать за котиками, обреченными сейчас на страдания в бетонной тюрьме с теплой водой. Если бы еще покровителем их был человек, подобный «доброму гению» севастопольских львов Валентине Николаевне Пилецкой. Но такие люди редки, как редки истинные таланты. Что же будет с оставшимися котиками?

Раздумья Юрия Илларионовича прервал шум «Волги». Из нее вылез солидный Пуладзе. Он важно, выставив по обыкновению грудь вперед, шествовал по территории океанариума. Лицо его было красным и напряженным. Пуладзе рассвирепел, и Юрий Илларионович понял это, когда тот взорвался вдруг и закричал:

— Когда кончится этот кошмар? Котики дезорганизовали работу всего коллектива. Исполнительный комитет Батуми не может функционировать. Мою душу на части рвут котики. Где заведующий океанариумом?

Маленький, верткий Микеладзе как из-под земли возник перед ним.

— Леонид Элисбарович, я здесь,— доложил он.

— Говорил я тебе: «Непонятный зверь, неизвестный, не надо связываться»? Говорил.— И, искривив лицо, он передразнил Микеладзе: — «Мы пионеры будем»! Откуда ты их привез, пионер, туда и вези. Нечего мучить зверей. Понял? — срываясь опять на крик, бросил он подчиненному.

— Понял, понял, Ленд Элисбрч,— лепетал Микеладзе, съедая в подобострастии звуки и стараясь хоть как-то умерить гнев начальника.

Юрий Илларионович подошел к бассейну. Котики начали потихоньку смолкать и затихли. Рваное Ухо, кричавший в небо, опустил голову и повернул короткую заостренную морду к человеку. Он чутко вдыхал запахи и, кажется, узнал его. В черных глазах котика Юрий Илларионович уловил огнистый выскерк отчаяния. Глаза зверя, казалось, говорили: «Куда ты завез нас, когда кончится эта мука?» В глубине их бились какие-то отсветы, словно зверь говорил им еще что-то и оставался великим немым перед сообществом этих желтых существ, которые обрекли

его на страдания. А человек был бессилён понять значки света, хотя мысль его напряженно работала: «Что, что хотел сказать котик?» Но узнать это не было дано человеку.

Юрия Илларионовича кольнуло в сердце, и, растирая грудь, он с горечью думал о том дне, когда решил поехать за котиками. «Первый, первый, ты будешь первый, кто перевезет их на тысячи километров,— это тебя грело,— билось в его мозгу.— Судьбы зверей были на втором плане. А ведь это не рыбка-мелюзга. Если бы станция отказала Микеладзе, тот перестал бы и думать о котиках. Сглупили мы. Жизни таких животных доверили сотрудникам океанариума, а те отнеслись к ним как к кроликам...»

Подумалось ему и о том, за что зацепился мыслью еще на пути к Тюленьему: «А если бы так вот, как мы, ворвались в жизнь человеческой цивилизации какие-нибудь пришельцы с других миров и передали бы каким-то холодным сапожникам в своей среде в попытке войти в контакт с землянами в условиях эксперимента?» «Если бы мы исчерпали уже все возможности, чтобы найти общий язык со зверьми там, на Тюленьем,— размышлял Юрий Илларионович.— А то ж котики «белым пятном» остаются. Мы же лихо решили все, как владельцы планеты. Разве животным и травам дано не то же равное право на жизнь, какое имеют представители гомо сапиенс?..»

Надо было уезжать, и Юрий Илларионович медленно двинулся к выходу. Когда он вышел за ворота океанариума, котики вновь заорали. Истинный биолог в душе, Юрий Илларионович букашек жалел, а крики этих больших зверей вонзались в его сердце когтями...

В Москву Юрий Илларионович возвращался поездом. Ночью его донимали жара и кошмары. Под утро только пришла какая-то необыкновенная легкость. Юрий Илларионович плыл по беспредельному океану, замороженный волшебной его голубизной. И вдруг прямо перед ним вынырнул котик Рваное Ухо, крутнул своей клювовидной головой с острой мышинной мордочкой и, увидев человека, крикнул: «Ага, попался, властитель природы!» В широко расставленных темных глазах его вспыхнул зловещий огонь. Человека обуял страх. Работая руками, ногами, всем

своим существом, он с бешеной скоростью удирает от котика. «Спасти, спасти, выжить бы,— стучало в его мозгу,— не даваться в зубы Рваному Уху». Но законы естественного отбора были неумолимы. Рваное Ухо в дельфиньем прыжке настиг человека. «Конец,— отчаянно забило в сознании несчастного существа.— Сейчас он перехватит клыками горло». Но Рваное Ухо был великодушен, он только напугал человека, чтобы тот не был слишком самозлюбленным в себя, не упивался своим могуществом.

Рваное Ухо поднырнул под него и швырнул его мощной шеей. Человек с силой шмякнулся о кусок суши. И долго лежал на ней, не веря еще в случившееся, жадно вдыхая в себя запах земли, трав, солнца — запах свободы.

— Что вам такое приснилось? — спросил Юрия Илларионовича сосед по купе.— Дернулись вы во сне, шлепнули руками по стенке. Обмякли потом и продолжали спать.

Юрий Илларионович помнил весь этот сон, но говорить о нем, ворошить пережитое, беречь себя вновь не стал. Сказал односложно:

— Какой-то кошмар.

Оставшиеся котики прожили в океанариуме еще три месяца. Может быть, их заморили. А может, они погибли от тоски по братьям и вольному морю. Давид Аббасович Микеладзе случайно столкнулся с Юрием Илларионовичем по приезду в Москву. Он не размахивал в этот раз руками и не извергал цветистых южных приветствий, а был тихий и скромный, как тень. Спрятав глаза под аэродромно-длинным козырьком каракулевой фуражки, проговорил:

— Я во всем виноват. Тщеславие заговорило во мне, и вас — подбил... А котики, видно, не живут в неволе. Сейчас хоть спокойнее нам стало,— добавил он и встрепенулся вдруг: — А тюлени совсем другое дело. Ученые наверняка сказали мне, когда я обратился за консультацией к ним: «Ручные они...»

Тюлени заняли теперь бассейны, где жили котики. Эти симпатичные сизовато-серые звери, за которыми летал на Каспийское

море и успешно доставил их в Батуми сам Микеладзе, довольно плескаются и фыркают тут, радуя туристов, всех посетителей океанариума, ставшего теперь одной из достопримечательностей Грузии.

Братья Роин и Гоги несколько раз летали в экспедиции на Дальний Восток. Отважно ходили в плавания с рыбаками по свирепому Японскому морю, попадали в штормы, когда воздвигались из сизого месива вод горы, и привозили для океанариума крабов, трепангов, креветок, мидий и гребешков. А когда в океанарии построили еще и бассейн для дельфинов, стали первыми дрессировщиками их.

Владимир Леонидович Мануйлов, все такой же крепко сбитый, обветренный и с раскосинкой в глазах, заявился однажды в НИИ к Юрию Илларионовичу.

— Ты не меняешься,— сказал Юрий Илларионович, когда Мануйлов крепко, до хруста, пожал ему руку и вновь вызвал у своего товарища видение острова морских котиков, этого маленького кусочка скалы в океане.

Владимир Леонидович рассказал о попытках акклиматизации котиков.

— На нашем острове котикам тесно, нет лишнего места,— заявил Мануйлов.— И я перевез несколько беременных самок на полуостров Терпения, который ты видел с Тюленьего. Но они почему-то не прижились там. А ведь увеличение стада котиков — это новые шкуры на аукционы, золото для нашего государства. И проблема расселения котиков так и стоит на повестке дня. Пытался я сам подрастить щенка, но после нескольких попыток выяснил, что рыбу они едят лучше, чем сгущенное молоко. Все равно буду продолжать эксперименты,— добавил Мануйлов с решимостью.

От экспедиции на Тюлений у Юрия Илларионовича остались короткие рабочие записи в дневнике, значок, где изображен морской котик с длинным пушистым хвостом. И живет в его душе память о «братьях меньших» — котиках, с которыми пережил трудную дорогу до Батуми. Единственную пока такую в мире. Котики, эти морские звери с клювовидными головами и заост-

ренными мордочками и умными по-человечьи глазами, время от времени снятся ему.

Юркая, энергичная Валентина Петровна Керштейн все так же работает на акклиматизационной станции, и самые сложные экспедиции доверяют теперь ей. Она пристально глядит на товарищей «калмыцкими» своими глазами перед отправкой в дальние путешествия: ветеран акклиматизаторов взяла за правило — брать с собой в этих случаях добровольцев.

Опыт перевозки котиков Юрий Илларионович описал в научной статье. Может быть, это пригодится когда-то людям. Полет с котиками через всю страну ярко припомнился ему тут, на берегу Пироговского водохранилища, серебряных гладей, по которым легко, как лебеди, скользили серферы с белоснежными парусами.

Юрий Илларионович думал о своей работе акклиматизатора, о судьбах дела, направленного на повышение продуктивности природы, улучшение жизни человека. Много в акклиматизации сложного. Она может быть подобна огню. Управляет им человек, как костром, — польза, разразился пожар — вред, бедствие. «Хрестоматийным» стал пример с расселением кроликов в Австралии, где нашествие их на поля фермеров приносило опустошение. Печально закончилась акклиматизация енотовидной собаки, завезенной в европейскую часть СССР, где она истребила многие виды птиц, гнездящиеся на земле. В списке вредных переселений — змееголов, оказавшийся злостным истребителем лягушек, рыбка бычок-ротан, которая установила «монархию» во многих водоемах Подмосковья, уничтожив молодь всех конкурентов. Но с теми же рыбами много и добрых примеров. Увенчались победой работы с растительноядными — этими «водными коровами». Белый амур и толстолобик спасли Каракумский канал, который погибал от зарастания травой. Они составляют сейчас пятую часть улова в прудовых хозяйствах страны. Успех пришел потому, что человек взял в свои руки не только перевозки молоди, но и инкубацию икринок в специальных аппаратах, подращивание личинок в «рыбных яслях». Дает эффект расселение по стране сибирской пеляди, этого универсального посадочного материала для голубых нив озер.

«Нет, не зря я жарился на берегу желтоводной Янцзы, отлавливал толстолобиков и амуров, мотался из края в край континента с рыбами», — накатывало на Юрия Илларионовича. Эксперименты показали, что в озерах приживаются даже осетры. Добиваются успехов и охотобеды. Пользу приносят выпуски в разных областях нашей страны ондатр, американских норок, бобров, кабанов, европейских оленей, маралов. Полезным оказалось покровительство человека над зубрами, овцебыками, пятнистыми оленями. Бывают, конечно, и сомнительные эксперименты... Побед в акклиматизации, может быть, меньше, чем поражений, но судьбы удач в руках человека. Удадутся, возможно, опыты с созданием новых лежбищ котиков. А в цирки, океанариумы этих вольнолюбивых животных незачем тащить. Опыт, хотя и печальный, тоже новое знание, которое человек добывает, вырывает у природы из века в век. Пришел к ученому и его образ с шахматами. «Играть в них с природою надо умно, — говорил в Юрии Илларионовиче умудренный уже опытом человек, познавший цену неудачи. — Приступить к партии можно тогда, когда уверен в победе, в конечном результате. Характер игры, тот или иной ход, конечно, непредсказуемы, но это и есть творчество, новизна, которые влекут человека в поиск».

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

На пойму реки тихо падают снежинки. Изюбриха покидает привольные летние пастбища. Мелкие заливы, в которых она лакомилась сочной нежно-зеленой травой, обширные болотистые пространства — мари, сырые луга словно окаменели, и шаг животного отдается порой глухим звоном. Шуршат сухие вейники и осока. Несколько ночей подряд над заледеневшей равниной свистел зимний ветер, и его свист сливался с воем волков. Быки-изюбры потянулись в сопки, где можно было кормиться жесткими, но питательными хвощами.

В дубровных куртинах осталось еще много желудя, и изюбриха не спешила в горы, стараясь как можно больше набраться сил, чтобы выжить в студеную зиму. Это было необходимо и маленькой ее телочке, для которой только начинались жизненные испытания.

Изюбриха заметила в дубняках табунки косуль. Значит, поблизости могут быть и волки. Память изюбрихи хранила предсмертные крики косуль, настигнутых волчьей стаей. Она ускорила шаг: скорей бы добраться до виднеющихся вдали голубых дымчатых гор, до спасительных скал. Набитая тропка извечного перехода легко вела ее к предгорьям.

Дня через два звери пересекли полотно железной дороги с ее резкими, гнетуще-тяжелыми запахами. Теперь они были у подножия желанных гор. На вырубках останавливались погрызть ветки молодых осин, тала, лип и кленов, вливающих бодрящую силу колючего элеутерококка и ершистой аралии. Ярко светило солнце, оттепель дурманила тайгу, исходили ароматом лианы лимонника. Горьковатые струи воздуха из тальников смешивались с настоем запахов елей и кедра, смолистых пихт. Слад-

ко-терпкий таежный воздух опьянял зверей. Здесь, в зарослях, можно было и зимовать: не догонит в этой чаще их ни волк, ни собака. Но изюбров пугал непонятный гул, доносившийся со стороны железной дороги. Поэтому на зимовку придется уходить выше в горы.

Пока ничто не предвещало опасности, звери лежали, подставив желтовато-серые бока теплому солнцу. И вдруг поблизости хрустнула ветка. Инстинкт подсказал старому зверю: в чаще стоит человек. Изюбриха рванулась в распадок, закрывшись от врага стеной кустарника. Телочка прыгнула за ней, но любопытство приостановило ее, она выскочила на пригорок, оглянулась. И в тот же момент у ног ее с треском разлетелся пенек, а в кустарнике ахнул гром. Телочка высоко взлетела в прыжке и легкими махами устремилась в чащу. Мать нагнала ее и пошла впереди.

Свежие следы изюбров давно уже вели человека в горы. Он с досадой посмотрел на ноги: обувь была обмотана травой, но валежина подвела...

Изюбриха боялась человека больше, чем волка, и торопливо уходила с телочкой в горы. В низине, у светлого ключа, изюбриха учуяла запах рысей. Две молодые рыси прошли здесь след в след, как ходят волки и выводки тигров, промышляли, возможно, зайцев и не были страшны ее телочке.

Сбивая человека со следа, изюбриха повела телочку по ручью, а потом перемахнула в хорошо натоптаный старый изюбриный след, повторила ее прыжок и телочка.

Поднявшись из распадка на одну из вершин, изюбры услышали далекий вой. Самку он испугал и удивил. Опыт говорил ей: где волки, близко и жилье человека — там серым разбойникам легче поживиться. Неужели человек появился уже и в этом глухом таежном углу? От волка можно спастись и здесь, где стали попадаться острые скалы и обрывы. Вскочив на недоступный с трех сторон выступ, изюбры вне опасности: под беспощадный удар их копыт волки не подойдут. Но от человека трудно спастись. Нужно идти к Горелой сопке, там много скал, а вокруг по гарям полно кустарников и молодых деревьев.

По небу уже разлился свет нового дня, прозелень мрака держалась лишь у горизонта. Изюбры залегли на отдых в густой чаще мшистого ельника. Вверху под ними на трассе время от времени раздавались натужные, режущие слух гудки. Шум этот вскоре стал привычным, и изюбриха забылась в сладкой дреме. Очнувшись она от хруста ледка, телочка стояла и пристально смотрела в сторону следа. Изюбриха слышала легкий шорох, это был не хищный зверь, а человек: ветки деревьев нет-нет да и шуршали по его одежде. Человек отрезал им выход через перевал, стараясь заставить выскочить на лесовозную трассу.

Устраиваясь на лежку, старая изюбриха допустила ошибку: от прогала, где проходила трасса, она прикрылась густой стеной леса, в другой же стороне был распадок, просматриваемый с сопки. Человек уже видел след изюбров, догадывался, где они могли быть, и, сделав крюк, зашел к ним со стороны сопки.

Опасность заставила изюбриху броситься к прогалу. Она сразу же перешла с рыси на большие прыжки и летела, чиркая копытами снег. Едва звери выскочили на открытое пространство, вслед им загревели выстрелы. Пуля с тягучим визгом пронзила кустарник.

Беда настигла изюбриху посреди прогала. Тупая боль полоснула ее откуда-то сбоку. Зверь кинулся за корень-выворотень. Грохот выстрелов стих. Изюбры пробежали вдоль прогала и остановились в пойме ключа. Старая самка перенесла тяжесть тела на три ноги: заднюю левую саднило от боли.

Медлить нельзя: преследователь не оставит их в покое до глубокой ночи. На гору изюбрихе было трудно взбираться, пришлось пойти краем широкой мари, заросшей мелким кустарником. Вскоре она выдохлась и устроила лежку. Телочка стояла рядом и лишь поглядывала, как мать с жадностью хватается губами снег и прядает ушами, прислушиваясь, нет ли опасности.

Человек опять обманул их, он зашел с противоположной стороны мари из-под ветра, и изюбры не смогли учуять его. Вновь тишину леса взорвали гулкие хлопки выстрелов, и эхо стоном отдалось в горах. Человек теснил изюбров к дороге. Зверям удалось укрыться в густом лесу на одной из небольших сопок.

Раненая самка легла и затихла, мятный колодок воздуха говорил ей, что скоро пойдет снег, и тогда запорошит, укроет их след. Беспокоила ее только кровоточащая рана. Предстоящая перемена погоды навевала на изюбриху сонливость, и она впадала в забытие. Но, преодолевая боль, изюбриха встала. Она сделала большой круг, затем несколько раз выходила на следы других изюбров. Пройдя их тропами сотню шагов, прыгала в сторону, пытаясь сбить с толку человека, направить его за здоровым зверем. Однако старую самку выдавали капли крови на снегу. И человек достиг ее. Услышав треск веток, изюбриха затаилась и пыталась определить направление, в котором двигается преследователь. Он все время заходил из-под ветра, и изюбриха превратилась, кажется, в слуховой нерв: всем чутким телом слышала она теперь подозрительные шумы и трески. И ей удалось уйти от выстрела.

Поединок закончился в темноте. Человек не смог выгнать изюбров на лесовозную трассу. Он вышел наконец к просеке, осмотрелся, приметил место и прошел по дороге. Знакомый поворот обрадовал его: близко зимовье, где его ждут.

...Охотовед, худощавый, с мягкими соломенно-светлыми волосами мужчина, успел уже накочегарить железную печку, она дышала нестерпимым жаром и звонко гудела. Обсыхающие стены, сложенные из толстых плах выдержанного, крепкого, как кость, кедра, курились парком.

— Ну что у тебя? — спросил он.

На усталом лице вошедшего разлилась довольная улыбка:

— Шлепнул... Правда, ранил всего лишь, но ранил, я думаю, крепко. Место засек, не потеряю.

— Плохо, что ранил,— заметил охотовед.— Надо наверняка бить.

А когда он узнал, что изюбриха была с телочкой, пожалел, что взял с собой на отстрел по лицензии этого нового егеря.

— Пропасть ведь может без изюбрихи телочка,— сказал он и добавил после молчания: — В нее-то ты не стрелял?

Егеря почувствовал суровые нотки в голосе охотоведа и проговорил опасливо:

— Было дело. А что?

— Барахло же ты,— зло бросил ему охотовед. Он подошел к егерю, положил руку на плечо, крепко сжал его и, глядя в желтоватые, кошачьи глаза его, сказал: — Человеком надо быть...

Больше охотовед не проронил ни слова, на душу его навалилась тяжесть. Он лег на постель из вороха старого сена и долго лежал, прикрыв глаза, суховатое лицо его было напряжено. В памяти охотоведа ожили встречи с другими людьми, которые, подобно этому егерю, относились к природе по-рвачески.

Охотовед знал, что раненый зверь подлежит отстрелу. Утром он молча собрался и коротко позвал егеря.

— Пошли.

Егерь показал ему примеченный поворот на лесовозной трассе, и вскоре они вышли к первой лежке раненой изюбрихи. Охотовед внимательно осмотрел вмятину на снегу. Изюбриха была крупной. Он замерил вмятину и внес данные в записную книжку. Потом двинулись дальше по следу, который о многом говорил наметанному глазу охотоведа.

В полночь, когда над тайгой сгустилась глубокая темень, изюбриха осторожно перешла через прогал и повела телочку к Горелой сопке. Пошел мелкий снежок, но вскоре он прекратился и не успел засыпать следы изюбров. Самка-мать долго шла по острым мелким камням и привела телочку к речке, журчавшей у подножия сопки. Изюбриха ступала в воду и долго шла по течению, осторожно передвигая ноги, чтобы не набрызгать на снег. Прыжок в сторону, и звери пошли сквозь кустарник. Многоопытный охотовед потом быстро разгадал хитрость изюбров.

Когда начало рассветать, сверху опять стал сеяться мелкий колючий снег. Изюбриха сделала большой круг и остановилась в гущине леса недалеко от своего старого следа. Если человек будет идти за ними, он направится дальше на круг за изюбрами, и звери выиграют время, чтобы уйти от преследователя как можно дальше.

Новый день выдался ясным и не по-зимнему теплым. Рябчики грелись на припеке по солнечным сторонам белоснежных берез. Кормились в рябиннике у распадка стайки снегирей, оставляя

на снегу под кустами красные брызги ягод. Разразилась длинной трелью из «кли-кликов» желна с ярко-красной шапочкой на голове. Изредка перекликались в кронах рябин дрозды. Занятые своей утренней жизнью, птицы не обращали внимания на лежащих зверей. Только крохотные синицы радостно нацвиркивали однообразную свою песенку и склевывали капельки мерзлой крови раненой изюбрихи. Их спугнул, высунув хищную мордочку из-под валежины, подбирившийся к месту пиршества птичек ярко-желтый колонок.

Близился вечер, кровь уже запеклась, но изюбриха еле волочила ноги от усталости и шла напрямик. Путать следы было бесполезно, слышался торопливый хруст снега под ногами настигавших ее людей. Изюбриха судорожными усилиями бросила тело вперед, взобралась на крутосклон. Наконец она достигла вершины горы. Телочка ее ушла в сторону где-то низиной. Изюбриха повернула к обрыву и остановилась, словно хотела в последний раз окинуть взглядом далекие и близкие горы, по склонам которых она бегала розовой телочкой...

Когда-то здесь уходили в прозрачно-синюю даль волны могучего кедровника. Теперь только отдельные стволы гигантов простирали к небу полусухие вершины. Горы стали грустными и безжизненно-серыми и не напоминали уже, как это было раньше, громадные добрые существа, где находили приют под пологом их лесов звери, птицы и насекомые. Унылую картину расцвечивали лишь кущи аралии, выросшие на волоках трелевок.

Она не слышала выстрела. Ее будто толкнули чем-то тяжелым в бок. Изюбриха рухнула на горячие скальные камни. Последнее, что она видела, была веточка барбариса, с нее сыпались алые ягоды...

В небе сгущались фиолетовые сумерки. Охотники подошли к поверженной изюбрихе.

— Дошла, — сказал один.

— Домучили, — мрачно уточнил другой и едко усмехнулся: — Охотничек! — Помолчал минуту и добавил: — А надо бы записать в памятке охотникам: «Не умеешь стрелять — не берись».

С егерем-новичком был известный дальневосточный охотовед Юрий Дунишенко...

Тридцать лет не был я в родном городе и вот с волнением иду от памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади вниз, к Амуру. Памятная мне по детству глинистая дорога, грязный ручей Чердымка стали теперь живописным бульваром с нежно-зелеными весенними листиками свидины с прутьевидными ветками, леспедецы и ильма, черемушника, жасмина и игольчатых «шалашиков» голубых елей. Вскоре глазу открылись просторы реки и поймы с прозрачною дымкой далей.

Юрий Дунишенко пришел на площадь минута в минуту, как мы условились по телефону. Я сразу узнал его. И точность эта, и размашистый шаг, и цвета спелой соломы волосы, и не исчезающая даже в улыбке грусть в голубых глазах, и острый нос — все совпадало с портретом, который словесно нарисовал мне в Тюмени однокашник Дунишенко по институту.

И вот идем с Юрием прогулочным шагом по городу. Высокое солнце залило улицы половодьем света, в воздухе витают запахи распускающихся почек тополей. Юрий увлеченно рассказывает о седом Сихотэ — так он называет Сихотэ-Алинь, о настоящей уссурийской тайге, об опытном участке, где много лет уже ведет наблюдения и исследования. Я легко представляю «очарованные его дали», где хрустальными бусами рассыпается по кедровникам звон таежных ключей, голубые аянские ели стоят словно дорические колонны и горят кораллы ягод лимонника. Подумалось, что такой человек, как Дунишенко, может быть пишущим человеком.

— Ты ведь по тропинкам Арсеньева ходишь, Юра, не собираешься книгу писать про Сихотэ-Алинь?

— Веду я таежные дневники, мечтаю о книге,— признался он.— Но временно оставил свои литературные занятия, надо диссертацию сделать, обобщить все, что открылось в исследовании главного моего зверя — изюбра.

Дома у Дунишенко нас встретила Айка, белая, с желтовато-золотистыми пятнами молодая собака. Она взвизгивала, радостно прыгала, пытаясь лизнуть руку хозяина. В фиолетовой темени мы повели ее на прогулку. Айка весело носилась по хрустя-

щей корке наста в распадке у большого, сверкающего огнями жилого массива. Снизу с поймы Амура сквозил ветерок, нанося запахи талого снега. На склонах за распадком чернели деревья.

— Красотица какая! — воскликнул Дунишенко. — Это громадный естественный парк, созданный природой, в распадке можно запруду сделать — водоем будет. Здесь и было когда-то озеро, спустили его в Амур, постепенно ломают и вырубают тополя на склонах, потому что ничейный массив. Да-аа, — вздохнул он. — Даже в самом Хабаровске подчас не можем уберечь лес. А что вокруг происходит? Опустынивание... Звери, птицы исчезают под натиском бензинной нашей цивилизации. Выбрался я недавно в одно урочище. Солнце яркое светит — и могильная тишина. Возле Хабаровска только Хехцирский заповедник, как остров, остался, но он открыт лишь для ученых. А населению куда податься? Чтобы показать сыну елку, кедр, лес настоящий, я три часа на автобусе еду.

Соскучившись по хозяину, Айка запрыгала вокруг него. Тот ласково остановил ее:

— Не зайчи!

И повернулся ко мне.

— Мой покойный учитель, руководитель по аспирантуре профессор Василий Николаевич Скалон, считал, что мы не можем говорить о культуре наших городов и сел, пока не будет в них в изобилии зелени. Очень глубокая мысль. Да?

Потом он заговорил о своих делах, стал рассказывать мне об изюбрах. Выявив мой дилетантизм насчет этих зверей, он оплодотворил мою душу красочными описаниями жизни их, природы. Сдавалось, будто Дунишенко собирается завлечь меня в охотоведы.

Много сотен таежных километров исходил он по тропам изюбров. Рассказ его впечатлял, и я словно шел по следам этих красновато-рыжих летом и буро-желтых зимой зверей. Видел, как подбирают они мягкими своими губами ягоды и грибы, аппетитно хрумкают желудями в дубняках. Слышал страстные голоса ревуших в период гона быков, стук рогов их на турнирных поединках на стрелках хребтов, по обеим сторонам которых за-

стывшими волнами простирались уссурийские дебри, изрезанные сетью рек и распадков. Поднимался к залитым солнцем сопке Горелой, величественным нагромождениям скал вершины Облачной, старым осыпям камней в разноцветных лишайниках, изумрудным островам кедрового стланика. Убеждался, что изюбры любят бродить по свежему снегу, а перед непогодой и во время снегопада у зверя притупляется внимание и он становится «глухим». Вместе с Дунишенко открывал я простой способ — определять численность и пол животных зимой по лежкам. По мочевым желтым пятнам на снегу легко узнать, самец был тут или самка. По размерам вмятины всегда видно, стельная она или нет. Приходил к выводу: можно теперь отказаться от весенних авиаучетов, от гроыхающих вертолетов, которые повисают над испуганными стадами, и шарахаются тогда со страха и отчаяния в стороны стельные изюбрики, и ломают ноги.

...За несколько дней до нашей встречи в Хабаровске Дунишенко завершил объемное исследование. До полуночи сидел он вечерами за приставным столиком у книжного шкафа в течение нескольких месяцев, когда приходилось жить и мыслить только цифрами и общаться с калькулятором, который с американской деловитостью помаргивал зеленым глазом. Минуту-две лишь позволял себе Дунишенко для разрядки — поговорить с радостно повизгивающей Айкой, которая только и ждала момента, чтобы хозяин ласково потрепал ее за уши. И вновь шла в кружение многочисленная цифирь, многолетняя статистика авиационных учетов по изюбрам, косулям и лосям по всей территории Дальнего Востока.

Дунишенко изучал структуру популяций, огруппировал в отдельные колонки быков, одиночных самок, самок с телочками-сеголетками, семейные группы, вычислил так называемые коэффициенты стадности. И выяснил угожья-жемчужины, где для жизни лосей, косуль, изюбров складывались наиболее благоприятные условия, и зоны суровые и тяжелые, определил закономерности их географии. Тщательный анализ показал, что промысел на Дальнем Востоке вели в самых урожайных на зверей местах, где выбивали телок, самок и резко снижали тем самым воспроизводство того или иного вида. А надо бы наоборот —

облагородить их, организовать солонцы, создать подкормочные соевые поля! На отдельных сосновых участках можно вносить азотистые удобрения, тогда ветки деревьев станут привлекательным зимним кормом копытным, и они будут группироваться на «охотничьих пастбищах». Эти меры непременно скажутся на увеличении численности животных, и они станут расселяться на смежные территории, появятся там, где сейчас их почти не встретишь... И, гуляя в распадке у искрящегося огнями жилого массива в весенних запахах тополиных почек, он говорил мне:

— Сейчас ко всем районам у нас подходят с одной меркой. А введя экологически обоснованные нормы добычи, которые в разных районах будут иметь свои величины, можно удвоить заготовки мяса диких животных на Дальнем Востоке. А теперь, когда к океану устремилась линия БАМа и растет численность населения, это имеет большое значение...

Следующая встреча с Юрием Дунишенко произошла после нескольких дней в розовом двухэтажном домике Дальневосточного филиала ВНИИОЗа — Всесоюзного научно-исследовательского института охоты и звероводства, где он теперь работает.

Юрий медленно, с какой-то осторожностью прохаживался по своему кабинету мимо шкафов с черепами различных лесных зверей. Кабинет этот был непривычен ему, как непривычен бывает новый костюм. Да и думами своими Дунишенко находился еще в охотоустроительной экспедиции, жил ее заботами и делами.

Я слушал рассказ Юрия об итогах большой работы его «охотоустройки», как он назвал свою экспедицию. Под ее контролем находилось 150 миллионов гектаров лесных массивов, целое государство. И в нем сведены воедино теперь учетные данные по зверю и птице, ресурсам растительности. Массивы паспортированы, разбиты по типам, составлены карты охотничьих угодий, продуманы мероприятия по сохранению брусничников, медоносов и других бесценных богатств тайги. Раньше в охотхозяйствах работали как придется, вслепую, сейчас у них появились глаза.

Не в один вечер открывался мне характер дальневосточного охотоведа, который жил принципом, воспринятым от родителей и учителей своих в юности: «Любить свое дело — значит любить Родину». Любая, даже слабая боль природы проникает в этого деликатного человека, истинного биолога, и, тревожась о малом, он тревожится о большом, своей Родине.

Ну как может не болеть душа охотоведа Дунишенко, если в уникальнейших лесах Дальнего Востока (кедрово-широколиственные массивы его — жемчужина мирового значения), в девственных охотничьих угодьях берут мяса в несколько раз меньше, чем в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Югославии, где более половины территорий — поля и луга? В каждом изюме, в каждой косуле охотовед Дунишенко видит бесценное, грациозное создание живой природы. В то же время он понимает и другое: любое копытное — это биологическая фабрика. И нужно уметь извлекать из этой фабрики для себя выгоду, комплексно использовать богатства тайги, не причиняя ущерба природе.

— Продукцию охоты давно называют процентами с капитала, стоящего на корню, — говорил Дунишенко мне в этот раз, измеряя кабинетик крупными своими шагами. — И ценным таким капиталом негоже разбрасываться и сорить. По-умному, современному, совместно с наукой пускать его в оборот надо.

Работа Юрия Дунишенко поначалу представлялась мне полной идиллии. Величественная тайга, реки, прозрачные озера, ключи, сладкие запахи хвои, трав и цветов, половодье соцветий и лепестков, откровения жизни птиц и зверей! Но чем больше я вникал в подробности деятельности охотоведа, тем ясней становилось, что прежде всего это большой самоотверженный труд: за четырнадцать экспедиционных лет Дунишенко побывал в отпуске только однажды...

Было это в июне. Юрий вместе с такими же отпускниками, как он сам, отправился на лодке вниз по течению реки Хор. Цель была одна — отдохнуть от повседневных хлопот охотоведа. Полюбоваться природой как бы со стороны — не торопясь и с наслаждением.

Ловили они по строжайше тогда «на мыша» ленка и тайменей, а где-то на берегах цвели сирень, жасмин и багульник, и так тихо было, что замерли даже осинки, и рыбаки словно бы и не плыли, а парили над тихой, как сон, рекой в пахучем настое трав и цветов. Торжественная тишина охватывала, подчиняла себе воздух, галечниковые отмели, тонкоствольные, как бамбуковый лес, тальники и глубокое искристое небо. Тишина соединяла их в единое целое. И Дунишенко вдруг почувствовал, что все это часть его самого. К нему пришло осознание, что работа охотоведа — это борьба за истинную гармонию человека с природой. Раньше в лесах и на реке он ощущал всегда себя как в мастерской, работником с засученными рукавами, а тут вдруг увидел мысленно, что природа — это и храм. Глубокая радость наполнила Юрия Дунишенко, и он подумал: «Счастливый я человек — живу любимой работой». И память увела его в юность, в небольшой поселок на Чукотке, в задутый снегами домик, где при свете керосиновой лампы-семилинейки долгой полярной ночью под заунывные песни вьюг постигал он школьные науки. В те годы Юра Дунишенко и не знал даже, что существует такая профессия — охотовед...

Через три месяца я прилетел в Хабаровск на XIV Тихоокеанский научный конгресс. В городе стояла томная теплынь августа. Но в ночь перед открытием международного форума ученых на город обрушился циклон. Дождь водопадом низвергался с неба, по асфальту бежали пенистые потоки, разъяренный ветер рвал и метал, и застигнутые стихией на улице люди с трудом преодолевали его напор, или их несло, парусило в спину, сбивая с ног. Предваряя научные дискуссии, природа словно бы взяла вступительное слово, чтобы напомнить ученым разных стран, что стихии ее гигантски мощны и эффективно противостоять им, изучать их можно только совместными усилиями человечества. А потом в городе опять установился теплый, августовский «штиль».

После одного из заседаний с участниками конгресса, специалистами по лесу в Дальневосточном НИИ лесного хозяйства мы с Юрием, послушав интересующие нас доклады, пошли прогуляться в тиши дендрария. На территории его было удивительно

тихо, не верилось даже, что он расположен в самом центре большого города. Ельники, тополя и сивдины с ярко-красными ветками, лианы лимонника и винограда, пронизанные солнцем кедры и сосны, сладковатый запах лиственницы, тонкие пересвисты розовых свиристелей, перепаркивание снегирей и дятлов — все располагало к покойному и глубокому раздумью.

— Я насквозь лесной человек, — говорил с мягкой улыбкой Дунишенко, — в лесу мне думается всегда хорошо, голова сама включается в работу. Мне сочувствуют некоторые знакомые, что теряю я много, пропадая месяцами в тайге, новинок культуры не знаю, от модных веяний отстаю. Я привел одному товарищу слова основоположника охотоведения Олдо Леопольда: «Как мы похожи на рыб! Всегда готовы... нет, рады схватить ту новинку, которую ветер обстоятельств стряхивает в реку времени». В вызолоченной приманке скрывается зачастую крючок. Можно покупать музыку, «закусывать» ею в дискотеке, но не слышать мелодий лесов, любоваться морем огней в городе, но не видеть неба в жемчужинах звезд. В циклон такой, какой трепанул Хабаровск, попасть на речке таежной, в метель коловертную — тоже событие для человека. Проверяется в эти моменты на крепость он, закаляет силу и волю.

Глядя на Дунишенко, который становился мне все более близок, я думал о том ядре твердости, гражданственности, которые были сокрыты в облаке лиричности его души. Он не признавал бесцельные шатания по тайге, всей душой ненавидел жучков в науке, которые жили и работали только для себя лично.

Друзья Дунишенко рассказывали мне о первых самостоятельных шагах его на ниве охотоведения, когда руководил он группой своих ровесников-охотоведов, выпускников Иркутского сельскохозяйственного института. Начальником партии был щуплый и суховатый человек с травленным холодом и ветрами лицом. Он прекрасно читал следы зверей, ходил по тайге мягко, как рысь, был душевен и с первых же дней вызвал симпатию у подчиненных. Позднее только Дунишенко открылось, что душевность эта вкрадчивая, он мог и по-рысьи схватить за горло, хотя был трусом. Обнаружилось, что по урманам и медвежьим распадкам

начальник партии ходил редко. Может, медведей и тигров боялся: ружья с плеча не снимал даже в окрестностях лагеря и ставил тут капканы на лис, шкуры которых себе брал. А материалы исследовательские ему нужны были — и по косуле, и по изюбру, и по другим копытным. И он прибирал к рукам данные изысканий работавших под его началом ребят и написал диссертацию, в которой, однако, с выкладками по изюбру у него случилась промашка. Его личные расчеты и наблюдения молодых охотоведов, которые прочесали всю территорию, разнились на две тысячи голов. И вот однажды ночью у костра, когда Дунишенко под плеск вод ручья делал записи в дневнике, а в освещенном пространстве над огнем покачивались в струях горячего воздуха ветки ели, начальник партии сказал ему как бы походя:

— В научный отчет твоего отряда надо вписать не пять тысяч изюбров, а три, как указано у меня.

Дунишенко вскинул белесые брови и заморгал от неожиданности.

— Подделать, выходит, нужно полевые журналы?!

Начальник партии не ожидал такого прямого вопроса. Он не мигая глядел на Дунишенко, потом тихо, но с явным нажимом в словах проговорил:

— Сделать — это не значит подделать.

Дунишенко будто окатило внутренним жаром. Он каждой клеткой своего существа впитал от наставников своих в институте, что честность — долг познания. «Стоит только раз поступиться, душой покривить, и начнешь катиться», — вспомнились ему чьи-то слова. «Нет!» — резко и коротко выпалил Дунишенко, обрывая все пути к компромиссу. И надолго нажил себе с этой минуты откровенного недруга, которому наука была кормушкой.

И в беседе нашей в дендрарии мы коснулись давнего эпизода. Взгляды Дунишенко на этот счет и по прошествии многих лет были ясны и чисты, как свежий таежный снег: «Ученому нужно широко открытыми глазами смотреть на жизнь, нужды своего народа, честно и бескорыстно служить ему».

Наступил вечер. Разогретые дневным жаром до мления дере-

вья и травы дендрария источали в пространство сладкие ароматы, все благоухало. Защебетали птицы, прощаясь с солнцем. Мы расстались с Юрием, а на следующий день я поехал с ним в ближайшее его урочище. У изюбров начинался гон, и Дунищенко нужно было вести учет их на реву.

Мы поднялись медвежьим глухим распадком на пурпурную от вечернего солнца вершину, с которой открывались чистые, прозрачные дали страны Арсеньева. Юрий согнулся в поясе, сделал глубокий выдох, и, держа потом берестяной рог двумя руками, стал выпрямляться и затрубил, втягивая в себя воздух, и с низких нот глухого рева флейтово вывел песню на звончайшую ноту. В ответ стали доноситься короткие переборы, густые октавы быков-изюбров, заперекликались они серебряными трубными голосами. Где-то волновалась и трепетала, возможно, слыша страстные зовы их, и та телочка, легконогая изюбриха, по следам которой Дунищенко шел однажды зимой, когда нужно было добить раненую самку.

Я должен был возвращаться домой и радовался, что удалось хоть услышать свадебные голоса изюбров. Мы распрощались, и Дунищенко пошел навстречу флейтовому реву их, туда, на Сихотэ-Алинь.

ПОДАРИ ОЗЕРАМ ЖИЗНЬ!

Когда встречу «живую воду», где рыба ходуном ходит, вспоминаю русские народные сказки, думаю об извечной мечте человека о таких озерах и реках, где бы рыба нишмя нишела. Ради этого живут и работают рыбоводы...

Из рассказа рыбовода-орденоносца
из Тобольска Л. В. Кугаевской

Легкими снежинками летит пух с прибрежных ив на наш палаточный городок у питомного озера Чебачье. Начальник экспедиции Игорь Созинов настораживает на рыбу «карманы» очень уловистой ряжевой сети, которую сам кроил и строил с одним стариком в Ишиме. Я помогаю ему. Задубевшее от солнца и ветра лицо Игоря спокойно и сосредоточенно.

Я — начинающий исследователь, и Созинов натаскивает меня:

— Сначала ногти отрасли, Саня, чтоб были как у меня. Когти — маникюр рыбацкий! Ногти — бесценное достояние научного сотрудника, когда рыбу выпутываешь.

«Великой озерной страной» называют лесостепь Западной Сибири и Северного Казахстана. Просторы полей и степи — зелено-золотистое море — сливаются здесь с голубоватой серостью вод. Над озерами реют чайки. Вечерами в пожаре заката можно увидеть розовых лебедей. Выси оглашают порой гулкие, схожие с ударом в гонг их крики...

Как только растаял лед, заблестели шелковисто глади озер, у экспедиции рыбоводов института Сибрыбниипроект начался полевой сезон. Исследователям предстоит отловить тысячи рыб, нужно определить, как они растут, чем питаются. Конечная цель — найти пути повышения «урожайности» голубых нив.

До конца рабочего дня еще далеко. Созинов перетряс ряжовку у последнего кола и скомандовал:

— Пошли и ставные сети переберем... У меня тут целый набор ловушек, каждый год подбавляется. В институте доказывать надо, что нам необходимы самые разные сетки. Я — бывало и такое — плюну на все и у браконьеров покупаю. Рыбаков в экспедиции по штату не положено, вот и пришлось овладеть ремеслом добытчика. Учись и ты: в умелых руках снег разгорится. А работы у нас много, живем по-крестьянски — встаем пораньше, ложимся попозже.

Созинов — старший научный сотрудник, аспирант Ленинградского рыбного НИИ. Детство Игоря прошло на лесной заимке. Мальчишкой еще задавался он уймой вопросов и спрашивал у своего дедушки: «Почему в наших озерах растет только карась? Отчего в одном озере караси вырастают в сковороду, а в другом — уродцы — голова да хвост?» По вычитанному описанию смастерил мальчишка тогда из бамбуковой палки, стебля тростника и алюминиевой трубки подводный стетоскоп. Приложив ухо к раструбу, прослушивал он июльскую какофонию рыб — цоканье, всплески, ритмичные удары, буханья, хрипы. Так стихийно рождался в нем исследователь, натуралист.

Созинов не может жить в городе, использует любую возможность выбраться в лес, на озера. Сам о себе он говорит:

— Как сорняки росли мы в детстве.

Он имеет в виду, что основательно детьми заниматься его родителям не удавалось. Они своими руками строили избушку-насыпушку, много времени отнимали огород, куры. А надо было еще работать с полной отдачей на производстве. Отец Игоря Анатолий Павлович, широколицый, с кустистыми густыми бровями мужчина, контужен был несколько раз, мучили его фронтальные раны. В труде забывал о них он и не раз награжден был, как и на передовой. Мать Игоря Наталья Ивановна, сухонькая, седая и очень подвижная — «Я все делаю рысью», — говорила она, — уходила на пенсию заслуженной учительницей школы РСФСР. Всей своей жизнью Союзинины-старшие внушали детям: мера человека — труд.

Игорь закончил биофак педагогического института, учил де-

тей, работал охотоведом, потом увлекся рыбным делом и поступил в рыбтвуз. Он основательно знает биологию, чуток к людям. Помню, приглашая меня однажды попариться в домашней бане, предупредил, чтобы я приходил пораньше. Оказывается, ветер в том месте дует так, что дым тянет на подворье к соседям. Вот и топит он баню, пока люди не встали. А выйдут они на улицу — воздух уже чистый...

О бане, коль о ней речь пошла, можно сказать и особо. У Созиновых ощутишь культ ее.

— Баня для нас — мать крестная, — рассказывала мне Наталья Ивановна, когда сидела за чаем, распаренная, густо-малиновая. Светлыми, как небушко, глазами смотрел на жену из-под гущины седоватых бровей Анатолий Павлович. А речь ее все лилась: — Жар всю хворь выгоняет. Мне шестьдесят четыре года, а сроду в больнице я не лежала, на курорты не ездила и никаких лекарств, кроме аспирина, не знаю. Здоровым рос и сын, Игорь. Роды были неудачными, правда, и был он первые месяцы слабым. Бутылки с горячей водой подложишь ему под бока и так поддерживаешь в нем жизненный тонус. Что давало этой крохе силы? Насосется, как клещ, молока и спит. Живучий! На роду было написано: жить...

Над Яровскими озерами гудит ветер, рвет гребешки с волн, гонит пенные валы-беляки. Невод мы вытащили пустой. Поехали с Созиновым ставить сети. Будем проверять их каждые два часа.

Темнеет. Направляемся с Игорем к «мокрой перейме» — мелкому, заросшему камышом проходу, который соединяет Большое и Малое Яровские озера. Во время охотничьего сезона здесь обычно стреляют на перелете уток. Сейчас птицы садятся на гнездо, и мы хотим послушать их вечерние голоса.

Свежо, озеро дышит прохладой, яровое поле струит запахи проросшей, готовой принять зерно земли. Где-то в темноте металлически свистнул кулик и затих. Ровно шелестит камыш. «Перейма» осиротела, и нам с Игорем остается только вспоминать о весеннем гаме птиц в былые годы.

Одиноко, со стоном крякнула лысуха, но ей никто не ответил.

Игорь тяжело вздыхает:

— Немая весна. Не с кем и поговорить исполкомовской утке.

— За что ты ее так? — с удивлением спрашиваю я.

— Привозили сюда на охоту одного товарища из области. Он утку-то настоящую убить не может — и палит по лысухе, благо что взлетает она неохотно. Спокойно сидит, крупная, пятно белое на лбу — не промахнешься. Теперь и зовут лысух здесь исполкомовскими утками. Это ведь не охота — сидячих лупить. Настоящий охотник бьет только влет. И в селезня метит, он вторым за уткой идет. Селезня утка найдет, а без нее какое потомство...

Идем к березовой рощице, где обустроились на ночь. Холодно светит вода в озере. В высях блестят серебристые облака. Прочертил небо, оставив светлый инверсионный след, самолет, волной нахлынул и растаял его гул. Все представляется чужим и холодным в этом мире. И одушевляет его, кажется, лишь негромкий голос моего друга:

— Воды в этом году нет, пал уровень. Отчего? Солнечные пятна «работают», да еще мелиораторы не везде с умом осушают болота. Все к одному. А нет воды — не будет и птицы. Мелиораторы ж ходят с больших козырей всегда в этих случаях — спорить начнешь вдруг: государственные задачи решаем, для народа... Сколько уже уроков дала природа людям! Перечитывал я однажды Блока и запнулся в «Скифах» на строчках о «больном позднем потомстве». Неужели мы будем так жить на земле, что это пророчество сбудется?

Потом его голос зазвучал с силой, стал сухим и жестким, слова излучали внутренний жар:

— Чернышевский, по-моему, заявил, что человек уничтожает первобытное состояние природы своими потребностями и должен воссоздавать ее, неумоимо трудиться и наделять новой высшей красотой. Мы же молимся в храме природы, икона она для многих. А нужно работать с ней. Не соваться в нее, как

свиньям, конечно, а чутким и обходительным быть. Невмешательство порой вредным бывает, потому что не тронутых человеком мест сейчас нет. Не трогали озера, ничейные были они, бесхозные — валили в них что хотели: грязные стоки, горючку и удобрения разные. Любой плюнуть мог. Стихия, и только. Рыбу начали разводить — следить за озерами стали, хозяин у них появился.

— Только стратеги-я обогащения природы, преобразование! Не страдательное подчинение ей, а поиск и утверждение идеального состояния природы, которое может прийти к ней лишь через человека. Третьего не дано! — отрывисто и рублено закончил он мысль.

А мне представился в воображении актовый зал Тюменского университета, где читал лекцию известный натуралист, главный редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство» Олег Кириллович Гусев. За кафедрой стоял прямой и высокий человек с буйно-черными густыми бровями, с жаром выкладывал он свои мысли.

Полемическая сторона выступления Гусева была обращена главным образом против приверженцев идеализации природы, тех, кто утверждает, будто наши угодья настолько обширны, богаты и хороши, что совершенно не нуждаются во всякого рода «вмешательствах», «улучшениях», «переделках». Один из примеров, приведенных ученым, напрямую касался наших с Созиновым дел и забот. И сосредоточенный, с плотно сжатыми губами, Игорь только кивал сам себе головой, когда Гусев коснулся судьбы многочисленных озер Западной Сибири, грандиозного ландшафтного ансамбля природы — «Великой озерной страны». Созинов лучше меня знал, что многие из образовавшихся в ледниковый период озер заносит осадками, заливает, затягивает дрейфующими островами-сплавинами из корневищ трав, торфа, и они доживают свои последние дни, пропадают, гибнут на наших глазах.

— Нужно сохранить прекрасные озера Сибири для настоящего и будущих поколений, — звучали в зале взволнованные слова Гусева. — Укрепляя фундамент, опору природы — равновесие, надо приращивать ее силы, полезные людям.

После доклада мы с Созиновым пошли к Олегу Кирилловичу в гостиницу и много дней после встреч с Гусевым были во власти обаяния этого замечательного человека, напористость и боевитость в характере которого соседствовали с чувствительностью тургеневского Касьяна с Красивой Мечи.

Начинал свою трудовую деятельность Гусев после окончания Московского пушно-мехового института научным сотрудником Баргузинского заповедника — этой величественной страны, называемой Подлеморьем, с широкими волнами на чуварах — пологих отрогах гор — кедровника, елей, пихты, лиственницы и сосны, березы, осин, чозений и тополя, таежных кустарников в глубоких и темных падах — голубой жимолости, рябины и кустистой лапчатки, красной и черной смородины, огромные, с янтарным отливом ягоды которых, налившись спелостью, были так нежны и прозрачны, что все семена и белые прожилки просвечивали насквозь. Там зарождались его представления о различных стратегиях отношения человека к природе. Четыре года подряд уходил в тайгу Олег Гусев из оранжевого соснового домика, поднимался знакомой тропой к белесым и прозрачным, как голубой туман, вершинам гор.

Зимой жильё охотоведа заносило снегом. По вечерам, когда из распадков дули пронзительные холода, тайга, вплотную подступившая к зимовью, шептала что-то тревожное, таинственное, непонятное. Но ветры стихали, умолкали лиственницы и сосны, и такая мертвая тишина царствовала в округе, какая может быть только в горах. Бесперывно шуршали крупные комья снега, скатываясь с хвои, слышен был в эти мгновения даже шелест нежно-стеклянных снежинок.

Солнце поздно выглядывало из-за гор, но когда оно наконец появлялось, сосны, окоченевшие за ночь, оживали, и кора их празднично пахла цветочным медом. В их снежных кронах, несмотря на сильный мороз, бодро распевали свои брачные гимны белокрылые клесты, с упоением слушали желтоватые самки щебеты с длинными посвистами женихов своих в малиново-красных одеждах.

В этом никому в мире не ведомом зимовье Гусев до краев был наполнен тем настоящим, ради чего только и стоило жить.

Одержимый жаждой деятельности и познаний, трудился он в Подлеморье, чтобы щедро делиться потом накопленными душевными богатствами, знаниями с людьми, отдавать им жар сердца, как требует этого долг от каждого специалиста, каждого гражданина Отечества.

Гусев безраздельно завладел нашими умами и сердцами, с бескрайней щедростью излучал он поэзию души своей, отдавал ее так легко, будто был собой спелый тополь, когда рассеивает тот на ветру семена-пушинки и каждое семя хранит в себе по царственному тополю. Мудрый и проникательный человек, Олег Кириллович верно почувствовал, что семена падают в добрую землю...

В Подлеморье Олег Кириллович привык быть один на один с природой и позднее в течение нескольких лет приезжал на Байкал в отпуски и в одиночку обошел «славное море» пешком. Гусев переплывал на резиновой лодке Байкал. Он, может быть, первым в истории судоходства на сибирском море пересек его на столь маломерном судне. Во всяком случае, в одной из иркутских газет тогда не без чувства юмора отмечалось, что «первым следует считать легендарное пересечение Байкала в «омулевой бочке», воспетой в старинной песне, если таковое имело место».

Ученый изучал природу Байкала в многочисленных зоологических экспедициях. Это общение с «голубой жемчужиной» страны Олег Кириллович относит к самому дорогому, к «звездным часам» своей жизни. Рассказывал о себе Гусев, и перед нашими глазами вставали просторы залитой золотисто-голубым светом байкальской соболиной тайги. Тесными сомкнутыми рядами стояли даурские лиственницы, многовершинные кедры, веселые ярко-оранжевые сосны. Сбегали вдоль русел порожистых речек к Байкалу светло-зеленые ленты-рощицы стройных и грациозных, как готические соборы, чозений-корейнок и душистых тополей. Берега чудо-озера опоясывала розовая кайма. Это плотными кущами цвел байкальский кипрей. Вплетал в него голубые тона дикий лен, нежились в лучах солнца синеголовые аквилегии.

Бродили мы по лиственному лесу и любовались фиолетово-

розовым морем цветов рододендрона. Буйно, роскошно и откровенно цвели большие кусты его, похожие на розовые шатры. Хвоя лиственниц после тумана усеяна была множеством светящихся огоньков — буквально на каждой малой хвоинке висело по капле воды.

На субальпийских лугах скрывали по пояс нас травы. С большими усилиями приходилось идти через заросли гигантских бледно-лиловых борцов-аконитов. Завораживали крупные, прозрачно-голубые цветы живокости-дельфиниума, напоминавшие по виду миниатюрные фигурки дельфинов. Кланялись под ветерком нам пушистые розовые барашки на высоких стеблях — раковые шейки. В музыку цветов вплетали свои мелодии гольцовые фиалки и яркие бокальчики горечаяек.

На заповедном кордоне встречал нас домашний северный олень Топка с рогами необыкновенными, как волшебный куст из прекрасной сказки. Мы ловили его за пушистый отросток рога и чмокали в широкий, теплый мохнатый нос.

Дышали мы на мелкие густо-голубые свечечки шишек кедрового стланика, шли через синие россыпи голубицы. Видели слоистые облака — стратусы. Слышали, как цвиркает бурундучок, следили, как в легкое касание губ едят снег олени. И ясней становилось, как же рождался в Олеге Кирилловиче человек, очарованный красотой природы, стремящийся мыслью и ввысь и вдаль.

Олег Кириллович, в свою очередь, с интересом слушал рассказ Созинова о рыбоводных делах в области. Это был разговор единомышленников, друзей. Глубоко запали нам в души мысли Гусева, разрабатываемая им «Стратегия». Не один день потом мы осмысливали ее, глядели мысленным взором в века неолита, люди которого поднялись от охоты и собирательства до культивирования животных и растений — тех видов, от которых ведет свое начало животноводство и растениеводство. И росло и крепло убеждение у нас, что истинное назначение человека — это постоянное совершенствование самого себя, общества и окружающей природной среды. Игорь так попросту сказал об этом: «Человек живет не для того, чтобы есть». Встреча с Олегом Ки-

рилловичем придала Созинову уверенности и напора, он стал более энергичным и твердым мыслью.

Вернувшись с Игорем с «мокрой переймы», снова засучиваем рукава и начинаем проверять сети.

Лодку болтает на волне. В такую ветреную погоду пелядь собирается в стаи. Попробуй на нее попади! Тянем очередного «пустыря». Созинов прищелкивает языком.

— Даже карася нет. Капризная рыба. Чуть ветер, давление упало — на дно пошел, вглубь.

Озеро отражает сумеречный свет и белеет, как снег в ночи. Причмокивают волны у берега, постреливают поленья в костре. Бодрствуем, молча глядя на пламя, по-птичьи дремлем, проверяем сети в намеченные часы. Весь улов — четыре рыбки, а надо не меньше двадцати пяти. Придется снова приехать на Яровские в эту десятидневку,

В полдень закончили отлов молодежи на Сетово, пришло время обеда. Идем с Игорем собирать палки для костерка, чтобы вскипятить чай. У самой воды нам стали попадаться останки здоровенных карпов. Ими усеяна вся прибрежная полоса озера. Последствия замора рыбы... Кричащими глазницами смотрели они на нас, немые жертвы трагедии. Тяжкое это зрелище, когда знаешь, каких трудов стоило завезти сюда этих карпов с южных прудовых хозяйств страны и растить несколько лет — отдельные особи достигли пяти-шести килограммов. И повинен был в этой массовой гибели рыбы один человек...

— Не дикие ведь рыбы, а дикий директор, — сдержанно произнес Игорь и замолчал, придушив нараставший в нем гнев. — Хорошо, хоть выгнали его наконец.

Пока ребята разжигают костер, бродим с Игорем по желтому песочку вдоль озера. Говорим о рыбхозе, перспективах озер, с которыми давно уже связал свою судьбу Созинов.

Обычно экспедиции Сибрыбниипроекта работали на водоемах один-два месяца. Аспирант Созинов поселился в одну из весен для исследований у васильково голубезшего среди яркой моло-

дой зелени трав и колков Чебачьего, которое зарыбили по его рекомендациям несколькими видами мальков, на год.

А летом пришла к парню любовь — глаза его понравились одной девушке, а она в них толк знала: была лучшим окулистом Ишима — и в ноябре Игорь женился. Всего три дня пробыл он с молодой женой и вновь уехал на озеро и до весны остался на водоеме. Дорогу перемело. В окрестностях Чебачьего было заготовлено сено, его всю зиму вывозили тракторами, и Игорь не рисковал покинуть свою обитель: боялся, как бы какой-нибудь случайный гость не утащил снасти, не растопил печь журналами наблюдений.

Жил он в избушке, которая летом была обителью чабанов. От Чебачьего до райцентра двадцать пять километров, до Грачей, деревни, в которую ходил за хлебом и сахаром, — семь. Днями не снимал Игорь широких охотничьих лыж и привык к ним, как альпинист к горным ботинкам. Долбил лунки на озере, протягивал подо льдом сети, выбирал их, откладывая на анализы рыбу. Нужно было еще приготовить себе поесть, истопить печь в избушке. Жилье быстро выстывало, и дрова следовало беречь.

На топку Игорь рубил ивняк, сухие березы в колках. Быстро летели в работе короткие дни и долгие вечера. До полуночи возился он с анализами. Потрескивала лампа, заправленная соляркой, исходили светлым дымком свечи. Что-то шуршало в трубе, иногда слышалось завывание за окном. И утром, бывало, Игорь обнаруживал вокруг зимовья следы волка или рыси. С внешним миром эту иссеченную ветрами и занесенную снегом избушку связывал лишь приемник «Спидола».

Когда выкраивался свободный час, Созинов уходил на охоту. Тропил любителя вечерних и предрассветных сумерек — зайца, снимавшегося с лежки за травяной ветошью, корой деревьев и другими кормами. Подкрадывался к тетеревам, стайки которых кормились на убранных искрящимся инеем березах в колках. А в остальное время работал. Ему удалось открыть не замечаемые раньше исследователями «пики» и «провалы» в развитии кормовой базы — различных обитателей ила, личинок ручейников, живущих в изящных домиках из песчинок и палочек,

мельчайших красноватых рачков с прозрачными створками раковин — дафний, многочисленных водорослей. Изучил молодой аспирант и приспособительные реакции рыб к изменчивости среды. Найдена была свободная экологическая ниша, а проще — свободное пастбище под водой, и это позволяло вселять в озера не два вида рыб, как рекомендовали раньше ученые Сибрыбниипроекта, а три, четыре. Теперь рыбу стали выращивать «по-созиновски», пустили в оборот все пастбища, и урожайность одного гектара водного зеркала возросла на пятьдесят-семьдесят килограммов.

Устроился в лодке и читаю «Царь-рыбу» Астафьева. Волны погромыхивают о днище, шипят на песке у ив. В вышине прозвучало гортанное «кик-кик». Вспыхнуло острое желание так же вольно реять и купаться в волнах этой бесконечной сини...

Пытаюсь снова углубиться в книгу, вижу Астафьева, в котором мучается душа его покойной матери, но не могу читать дальше. Смотрю на Чебачье с его ласковыми теплыми водами. Смотрю глазами своей мамы, которая пережила войну, голод, трудилась не разгибая спины, и вырастила орлов, как любит она говорить, подняла голову наконец и увидела, что жизнь прожита. Смотрю глазами своего деда, столыпинского переселенца из голодного полтавского села на вольные земли Приамурья, где пожаром погубило весь скарб «клана», но живучий крестьянский род «восстал из пепла»...

Застонала во мне, заныла душа отца, погибшего трагически в возрасте Христа, в тридцать три. Представилось, как иду я городом детства походкою не видевшего меня отца, раздумчивый и усталый, и падаю, разбросив руки, среди замшелых плит старого кладбища на землю, на указанное мне очевидцами место, где завершил он свой путь, глотаю комок слез в судорогах... Давно уже нет в живых отца, растворился он в струях дождя, превратился в листья и траву, во все, чем я дышу и чем я живу. Так и не прижал к себе он, не поласкал, не ощутил тепла родного своего существа, своего продолжения. А мокрая глинистая земля, завернутая мною в бумагу, закаменела и ссохлась и лежит в письменной тумбе дома, и нет сил мне ее развернуть,

хоть пытался сделать это не раз, лишь трогаю сверток с бережностью, как рану, а на берегу Чебачьего говорю словами поэта клятвенное:

Твоей могилы я не потеряю,
Пока своей могилы не найду...

Раздеваюсь и вхожу в воды озера. Плыву и ощущаю себя, как в невесомости. Тело скользит в мягкой прохладной воде. Разбегаются в стороны клопы-кориксы, дергаются на волне комары-звонцы, выдираясь из куколок. И вьются над водами, звенят волосняным серебром их голоса.

...Опять сижу в лодке, осеребренный каплями. Вечереет. Горит золото зари, сиреневыми бликами играют волны. Пелядь резвится у берегов, и видны всплески. Бранятся крачки. Халей, или, как его еще зовут, мартын, сидит на тычке поставленной нами сети и ждет, когда дрогнет снасть, чтоб выхватить рыбку.

Остывает заря, краски тяжелеют, жемчужно уже засветилось озеро, но птичий оркестр еще играет в полную силу. Ручейком льются песни славки-завирушки, солирует славка лесная: завертыши-коленца «тюр-ли-витюрли-ча-ча-ча-тютю-у-рли» она начинает с щибета и доводит их до флейтового свиста. Ее перебивает откуда-то из дальнего леса резким и грубым, как звук расщепляемого дерева, «чеканьем» сорокопуд. «Жвэкает» селезень-соксун — ищет самку, свистят одинокие кулички.

Над палатками пролетела кукушка, она чем-то обеспокоена и кукует с глухими подголосками «хэ-хэ»... Где-то тихо кричит, как ребенок, свое «вэ-вэ» ондатра.

Каждый день нашей жизни связан с озерами. На следующее утро мы снова ведем отлов пеляди. Ивы склонились над волнами. Белое солнце разлилось в волнах, и все вокруг стало серебряным. В лицо веет сладкий ветер. И кажется, видишь внутренним зрением в стеклянной, зеленоватой голубизне весь этот край тысячеозерья с полями, колками, деревеньками, фиалкового цвета копнами сена, артериями большаков с капиллярной сетью проселков, видишь под Ишимом село с маленькой, трогательно красивой церквушкой, у которой когда-то вырастал будущий

автор «Конька-горбунка» Петр Павлович Ершов. И прозревшие глубоко чувствуешь, где зачерпнул он поэзию своей вечной сказки.

Созинов много рассказывал мне о самом красивом в районе озере Зоткино, тайне его.

— Первозданность озера сохраняется потому, Саня,— говорил мне Игорь,— что браконьеры там не бывают, оно зарастает летом подводным растением телорезом...

И вот мы собрались в поход туда. Встали до рассвета. Залюбовались восходом. Над сиреневой полосой горизонта — слабый столб света. Он растет, ширится. Разливается над землей сияние невидимого еще светила. Небо зеленеет. И вот наконец выкатывается оранжевое, как апельсин, солнце. С мефистофельскими нотками захохотали чайки-мартыны, подали голос скворцы, чечевицы с утра стали поднимать свой вечный вопрос: «Чечевицу видел?»

Лицо Игоря одухотворенное.

— Волнует все это,— говорит он.— Много уже рассветов встречал, а все никак не привыкну. Будто заново на свет рождаешься с каждым рассветом...

Идем мимо ржи. Переливаются в колыхании желтеющие колосья ее, пиликают на скрипках лета свои песни кузнечики. Встречаем копешки сена.

— В долгах не деньги, в копнах не сено,— замечает рассудительно Игорь, и глубинная какая-то улыбка вдруг размягчает его лицо.— Нравятся мне все эти картинки.

А потом будто тень скользнула по лицу Игоря, и он с грустинкой уже продолжил:

— Деревень только мало в этом краю. Исчезают одна за другой.— Он смолкает на мгновение и добавляет: — Редкие, как вдовы, стоят.

Потом вскидывает взгляд на меня.

— Викулов знаешь, как написал? «Ревнива она необычайно, земля-то наша. Любит, чтоб мужик под боком был...» Это он о вологодской. Но земли ж все — родственники...

Вышли на лесную дорогу. Многоголосье птиц. Я пытаюсь уловить словесный рисунок их пения, щебета. Игорь подсказывает:

— Слышь, что жаворонок говорит? «Полечу на небо, поймаю бога за бороду, за бороду». Овсянка: «Мужик, сено вези да не трясн...» Пеночка: «Титю видел, титю видел?..»

Миновали рощу редких крупных берез, и неожиданно открылось Зоткино. Живая серебряная чаша, обрамленная ивами и высокой стеной берез. Где-то недалеко совхозный загон: трубно мычат коровы. Но озеро непуганое, берега его обжиты чибисами и куликами, и птицы встревожились. Один чибис вьется и скачет по земле прямо у нас под ногами — уводит от гнезда. Крик его жалобный и ранит душу, как плач ребенка. Только прошли его гнездо, выпорхнул из травы кулик. Вытянул ножки, как цапля, и трепещет над нашими головами с беспокойным посвистыванием. Мы передумали обходить озеро, чтобы не тревожить птиц. Присели на травку и молча глядели на виды Зоткина. Думали о тайне его, молодом рыбаке Зоте, который, как гласила легенда, утонул в этом озере. Пытались представить любимую Зота, которая руки ломала, плакала, что пропал ее миленький, и прокляла озеро, крикнув: «Чтоб ты заросло очеретом, осокой и зеленой травой...»

Телорез набрал уже свою летнюю силу, над поверхностью воды выглядывают кое-где мощные острозубчатые по краям листья его. А в толще воды обильные многоярусные ковры, джунгли густых розеток листьев. Осенью водоросли опадают на дно, слой ила растет, и «проклятое» озеро интенсивно мелеет...

— Обратно идем крепью. Согласен? — предложил Игорь.

Мы двинулись низинкою через чащобы ивняка, мелкого подраста берез и осин, какого-то кустарника. Едва продирались через этот заслон, и казалось, не будет конца этой целине колючек, крючков, охлестов по глазам и лицу ветками. Чаша внезапно оборвалась изумрудной росистой поляной, где, кажется, не ступала нога человека. Игорь застыл и не шевелился, словно боялся испугнуть красоту этого потаенного уголка. В глазах его заиграл волнообразный переливчатый блеск.

В центр лужайки сбежались пять ирисов и безмятежно подставили лиловые щечки цветов солнцу. У края поляны благоухал

в цветении куст шиповника. Игорь тронул один бутон рукой. Из лепестков его, как слезы из глаз ребенка, выкатились две росинки, и Игорь с изумлением прошептал: «Гляди-ка, заплакал цветок». Потом он раздумчиво покачал головой и сказал:

— Природа — это мир очень нежного. С душой нужно подходить к ней, чтобы не навредить. Мы с психологией бульдозера сплошь и рядом идем к ней, и сколько слез проливается?..

На озерах мне не раз уже пришлось убедиться, что Игорь, как настоящий биолог, чуток ко всему живому, будь то растение или животное. Боли их проникают в него, как песчинка в тело жемчужины. И обрастает боль думами и эмоциями. Так выделяет драгоценные соки уязвленная устрица и обволакивает колючую песчинку, и в центре самой большой жемчужины сосредоточена боль. Нечто схожее с этим у Созинова: самая большая радость его имеет в своей основе боль.

Через сухой кочкарник, где в прошлые годы было полно воды и уток, вышли к озеру Чихово. Вдали видны были Грачи. Мы находились в центре глухого, грачиного угла района, где в березовых колках обитают сотни этих птиц — друзей земледельцев.

— Здесь, около Чихова, я и ходил в Грачи в ту зиму, когда робинзонил здесь,— говорит мне Игорь.

Мы в броднях и идем водой, по чистому песчаному прибрежью. В берег уходят норки ондатр.

— Зверюшки, как люди, селятся в хороших местах,— замечает Игорь.— Только вот мы — варвары. Смотри, сколько битых бутылок в воде, ткнется зверек носом — и рана. В людском селении разбросай металлический лом, груды стекла — шуметь будем, в газету писать, в исполком жаловаться. А зверькам куда обращаться?..

Лесная тропа вывела на опушку, открыла простор озера, поля, неба. У палаток мы увидели «Запорожец».

— Тесть семейство мое привез,— с теплотой проговорил Игорь.

— Мама, мама, прише-о-ол! — раздался тонкий голосок его

дочери Оли. И вот она уже бежит навстречу Игорю, раскрылив ручки, и громко кричит:

— Папа, папа, голубчик мой!

Вновь мы с Созиновым отлавливаем рыбу молодь на Южной протоке. С дороги сворачивают к нам «Жигули». За рулем машины — слегка выпивший мужчина с жиденькой челочкой. Рядом — дородная женщина, по всем видам жена.

Водитель пытается затеять с нами дискуссию по проблемам любительского рыболовства:

— Сроду я рыболов-любитель, а негде ловить теперь: то озеро заповедное, другое тоже. Лужи, где и лягушей нет, остаются нам. Что делать? Все клевачие озера рыбхоз забрал...

Созинов сурово обрывает его:

— Все ты лучше нас знаешь, ехал бы своей дорогой.

Но мужик распаляется:

— Хорошие озера не успевают обловить в рыбхозе, и нам не дают. И гибнет от загара, мрет рыба... На Сорочьем карасики пропадают. Мягкие, жирные, ости не встретишь, как бревешки караси. Окунь до локтя есть. А у нас выходных два — суббота и воскресенье. Пить только? Пьянка ведь надоедает — и день и два заниматься с нею, проклятой... Рыбу мои ребяташки любят. Вместо конфет сосут и вяленую и сушеную, желубят и желубят.

Жена хватает его за рукав и дергает с такой силой, что пиджак трещит у мужика.

— Ну кому твои дети нужны, кому?

А тот, окончательно взвинченный и выведенный из себя, тянет голову в сторону Созинова и кричит:

— Может, вы изобрели средство ловить рыбу там, где ее нет?

Дома, на Чебачьем, мы с Игорем схватываемся, как петухи. Я, защищая интересы рыбаков-любителей, говорю: сельский житель получает намного меньше разных благ, чем горожанин, но зато близок к природе, пользуется ее дарами, так зачем лишать его этого преимущества. Надо создать ему такие условия, которые бы в равной мере сочетали интересы государства и личности.

Созинов твердит: для этого есть первичные ячейки общества охотников и рыболовов, пусть этим вопросом и занимаются, нам нужно государственные проблемы на озерах решать, программу Продовольственную выполнять, у города-то живот, мол, большой...

Страсти мало-помалу стихают, и я начинаю думать, что Игоря тоже можно понять. Однажды браконьер-бандюга из обреза чуть не пристрелил Созинова на Чебачьем. Успел Игорь увернуться и сбить его с ног веслом, и браконьер только воздух хватал ртом, как карась. Но, может быть, тот случай лишь исключение?.. Не знал я, что будет наплыв браконьеров в эту осень, когда придет пора снимать урожай на «голубой ниве». Впереди и «черный ураган», который смял наши палатки, как картонные коробки, выбросил лодки на середину Чебачьего. Мы первый раз еще видим в своем лагере рыбинспектора. Это подъехал на мотоцикле, на неся облачко пыли на нас, мой давний товарищ Анатолий Савельев. Он работал когда-то в районной газете фотокорреспондентом, и я попросил его поснимать пейзажи.

Он идет по земле, как по палубе, вперевалку, протягивает широкую ладонь, улыбается. Интеллигентно кивает моим товарищам в знак приветствия. Глаза у него светлые, думающие. Я гляжу на них и вспоминаю мать Толи, которая уже лет сорок работает свиаркой в колхозе. Интереснейшая натура!

Мужа у нее убили на фронте, одна воспитывала детей. Привыкшая к тяжелой жизни, натужной работе, она тянула воз своих сельских забот. Не работала, а ворочала, как сказала она однажды. И наградили ее орденом. И женщина неожиданно увидела себя в новом свете. Залюбовалась в один из дней своей работой, чистыми розовенькими поросятами, белыми как сахар, от хорошей густой извести стенками их клетушек. Звездное небо стало ее волновать, вольный ветер в поле, плеск воды в озере Северге, полюбила грозы. «Так и жизнь течет где-то красиво и бурно,— думала она.— Интересная, как песни цыган». Увидела «Тихий Дон» на клубном экране и влюбилась в Аксинью. «Цены ей не могу дать,— говорила он соседкам,— такая симпатичная и красивая. Но душевности больше у Натальи. И все-

таки Григорий богаче их душой был. И ту ему жаль, и другую. А не мог с богатством души своей управиться».

Помню вечер у Толи. Он, подперев лоб пятерней, разбирал шахматный этюд в гостиной, а мы с матерью его, приехавшей к сыну в гости, беседовали на кухне. Внучка поиграла с ней, попрыгала и побежала смотреть телевизор, а бабушка с затаенной улыбкой в лице проговорила:

— Ну и дети пошли, верченые, как орангутанги.

Она налила по рюмочке своей настойки, мы выпили. Щеки ее разрумянились, делая лицо бабушки похожим на кукольное. И руки лишь, натруженные, с буграми вен, говорили о ее крестьянской душе.

Про сыновей интересно рассказывала она мне:

— Старший мой, Николай, сильно душевный, но Толя — другой. Душа у него глубокая, как колодец. Слово скажет — в дело оно. По себе знаю, он меня лучше всех понимает. Понимает людей Анатолий...

Поехали с Толей на Безгустково. Он не гонит мотоцикл, едем ровно, высматривая «кадры». Толя неторопливо рассказывает, наклоняясь ко мне в люльку:

— Веди в записках своих такую линию: перегибы случаются у нас с рыбоводством, как в сельском хозяйстве было в коллективизацию. Зарыбляют и хорошие озера, и лужи и не все потом осваивают. Будь моя власть — я б дал рыбхозу все, что требуется, но с условием — облови все озера, если зарыбил, не выловил — отвечай по суду. На ферме падеж скота — виновных найдут, накажут, а тут не несут люди наказания, разворачиваются, как развратился тот директор, бывший. Потому что носились с ним как с писаной торбой. Как же — не боится все на себя взять, энергичный, решительный, боевой! Вот он и убивал живое дело, инициативу людей — мало ли таких сейчас!.. Надо было убирать человека с директорского поста, а его еще и хвалили, гладили по головке: молодец, мол, Ваня... Медвежью услугу делали Ване, честолюбие его разжигали... Ты знаешь притчу о лжи и о правде? Заспорили ложь и правда. Ложь говорит: «Я людям больше пользы приношу». Правда, естественно, не соглашается с ней. Решили практическими делами спор разрешить. Пошла ложь к

сапожнику. А тот работает плохо, подметки отлетают от сделанных им сапог. Ложь его расхвалила: какой ты молодец, как, мол, красиво работаешь. У сапожника настроение поднялось, тачать сапоги он начал с азартом. Заходит ложь к пекарю. У того хлеб то сыроватый, то с перепеком. Ложь ему комплиментов наговорила, и пекарь, ободренный, заработал. Направилась ложь к хлеборобу — у того поле сорняками заросло. Тоже только хорошее говорит ему ложь, подхваливает, и усердней заработал мужичок. Сменила ее правда. Высказала она сапожнику, что о нем думала, у того и руки опустились. К пекарю подошла — тот с расстройства хуже стал пропекать хлеб, к пахарю — тот духом упал, и поля его еще сильнее зарастать стали сорной травой. После этого заводила спора и спрашивает: «Так что же лучше — ложь или правда? Где ложь прошла, там усердие у людей появилось, процветать они стали, а где правда — сникли люди, разорство в делах...» Жизненная ситуация. После лжи сапог больше. Но каких? Худых. Хлеба больше непропеченного. Нет, если от правды и опустятся руки — на время. Потом лучше будет. С правдой жить надо, по совести... А то вот дохвалили Ваню... Начхали на людей своих. С начальством же ласковый — перекосятся от улыбки. Работа у него в пикники превратилась, а рыба — в закуску одну. Начальство, знакомых на озера возил чуть не каждый день в последнее время. Все гульба и гульба. Вконец записался. По сударкам пошел, семью терять начал... Рыбхоз дергано стал работать, планы заваливать стал. В Викуловском районе не облавливал рыбхоз озера, и гибла рыба в заморы. Я недавно добился, чтобы часть тех озер отдали любителям. А с браконьерами одна позиция — война.

Меня вызывают в Тюмень. Утром уезжать. Известие было неожиданным. «Значит, прощаться с Чебачьим, с синим дымком, выющимся над домиками чабанов, с березовыми лесами, заянтаревшими уже хлебами, ласковым ветерком, птицами, прозрачно-голубым куполом неба — крышей нашего большого полевого жилища?»

В сумерки я поплыл на лодке вдоль берегов Чебачьего. С се-

вера надвигалась громадная, черная, с сизым кантом понизу туча. Половодьем разлилась густо-синяя темнота. По горизонту начали вспыхивать вдруг зарницы.

Вблизи одного из берегов заметил двух лебедей и наблюдал за ними в бинокль. Зарницы встревожили их, они стали сплываться, отходить к центру озера и были недалеко от меня.

Один разряд молнии пришелся неожиданно на ближние леса. Яркое осветило свежно-розовых лебедей. Во второй раз их ослепило уже в воздухе. С широким, спешащим размахом они поднимались вверх, пытаясь найти где-то приют в этой черной тревожной ночи. И представились они мне в этот момент чутким, ранимым сердцем природы.

Я взял с собой на неделю сына-первоклассника. Он давно ждал этой поездки, несколько раз за дорогу лазил в кармашек своего рюкзака проверить, не потерялся ли подаренный мною «настоящий ихтиологический нож» с зеленой рыбкой на ручке.

В экспедиции нас встречает приехавший к нам на подмогу с Ямала старший научный сотрудник института, кандидат в мастера спорта по борьбе Нияз Ниязов. Мощные его бицепсы кстати: на озере стали появляться по ночам браконьеры.

Меднолицый Нияз с лоснящейся мускулатурой своей, волокна которой играют при напряжении и кажутся подобранными одно к одному, сразу доверяет «дело» Сереже, сопроводив свою просьбу приказкой:

— Хочешь есть в тени — поработай под жарким солнцем.

Бич нашего озера — маленький сорный гольян. За двадцать минут его набивается в специальную сетку — гольяницу — столько, что выпутывать улов приходится около часу. Нияз поставил перед Сережей задачу — очищать озеро от гольянов, которые истребляют в «посевную кампанию» личинку пеляди. Он с удовольствием объяснил мальчишке премудрости рыбоводного дела, учил ставить гольяницу. Сережа быстро перенял сноровку Нияза и на следующий день уже был заправским «гольянщиком». Сережа крепко усвоил вредную роль гольянов в рыбоводном процессе.

Ясно ему стало, что пелядь хладололюбива и приходит вечерами к берегу, потому что вода здесь быстрее остывает, ночью перемещается на глубину. Усвоил, что в жару у нее обмен веществ нарушается, и без пользы питание тогда ей. Тут же высказывает Ниязову свое мнение:

— А я-то в жару не ем, только воду пью, дядя Нияз. Интересно, да?..

Гольяны, эти самые маленькие в Сибири рыбки с изумрудными спинками и золотистыми боками, идут в уху нам, обеспечивает ими Сережа и молодую крачку — мелкую острокрылую чайку. Она где-то повредила крыло, силенок летать у нее еще не хватает, и птица обитает в заливчике неподалеку от наших лодок. Завидев своих обидчиц — сорок, бежит по мокрому песочку в сторону лагеря, искать у людей защиты.

Беспокоясь о том, как бы сороки, которые бесцеремонно вырывают пищу у крачки, не поклевали ее, Сережа то и дело отгоняет нахалок ивовым прутиком, но без злости. Мне он объясняет:

— Сорочата у них прожорливые, им много еды надо.

Сережа не забывает кормить крачку утром, днем и вечером. Птица с нетерпением поглядывает на него, а он раскладывает свежих гольянов на специальной дощечке и кличет:

— Чаечка, чаечка...

Чайка вначале побаивалась нового человека, а потом стала выхватывать у него еду прямо из рук.

Однажды рядом с нашей появилась еще одна крачка — тоже из молодых, только не чувствовалось упругости в ее крыльях.

— Больная, — с ходу определил Нияз. — Это сестра нашей крачки, она жила у нас, улетела неделю назад, и видишь, какая-то напасть к ней пристала. И к людям вернулась птица.

Чайки столуются вдвоем. Одна из них угасает на наших глазах. Через два дня мы теряем ее вдруг, но вскоре находим. Она лежит на желтом песке, и волны слегка пошевеливают ее тельце, безжизненную черную головку.

Сережа тоже с нами. В глазах его печаль взрослого человека. И вдруг поднимает голову сын.

— Наша, наша вторая чайка летит, — говорит он почти шепотом.

том, словно не веря в происходящее, в эту чудо-награду за его труды и заботы. «Криа-криа», — роняет с неба свои звонкие крики птица.

Дни стоят солнечные, теплые. На ведро показывают ночами ясная, белая луна и стелющийся по воде утром туман. Два раза в день Сережа садится за весла, и они с Ниязом отправляются проверять сети. Сережа ходит с Ниязом на лодке под парусом, отлавливает планктон на анализы, выбирает дночерпателем бентос — донные кормовые организмы. Очень нравится ему личинка комара-звонца, тельце которой горит прозрачным малиновым светом.

— Папа, тебе жалко малинку? — спрашивает он меня и, не дожидаясь ответа, высказывает свое: — А мне все жалко...

Каждый день Сережа занимается с Ниязом гимнастикой, учится плавать, вырабатывает в себе волю и глотает в обед, давясь, ненавистный ему ранее лук. Сережа влюбился в Нияза и глаз не сводит со своего учителя. Сыну вменили в обязанность помогать кашевару, и Сережа с усердием разжигает костер, поддерживает огонь. Научился чистить рыбу и с восхищением отзывается о моем товарище:

— Папа, дядя Нияз у нас, как мама, все умеет.

Вечерами мы уплываем с сыном на лодке в «кругосветку» по стеклянно-светлой глади озера. Он дал названия всем пескам, и экспедиционники потом пустили в обиход их имена — турухтаний, журавлиный, пеликаний и коровий. На коровьем поят скот чабаны, а на пеликаньем Игорь с Ниязом первый раз увидели пеликанов, и мы теперь ждем-поджидаем этих редких в Сибири птиц.

Сережа мечтает о восьми руках: чтоб четыре гребли, две комаров отгоняли, две бинокль держали.

С биноклем он старается не расставаться. В один из дней понаблюдали мы через оптику с Сережей за брачным базаром куличков-турухтанов.

Серые самки с аккуратным белым брюшком и белым передничком на шее, который делал их похожими на скромных девочек-учениц, безразлично, казалось, расхаживали по песку или стояли в воде. Это внешнее впечатление было обманчивым: са-

мочки приглядывали себе женихов, но только не навязывались, не делали предложений, потому что это противоречило нормам турухтаньей нравственности.

Турухтаны-самцы в рыжих и пестрых, немыслимо взъерошенных подшлемниках выхаживали по песку, как щеголи, пытаясь очаровать подруг пышным серебряным воротом, какой-то деталькой своего наряда, а расцветка одеяний была у них разная, никто в мире еще не находил двух одинаковых брачных костюмов у них. Женихи чиркали крылом перед невестами, ожесточенно, теряя головы от любви, хватали друг дружку за воротники, кружились, прыгали один через другого и, вывалявшись в песке, как поросята, бурно отряхивались и осыпали дождем все население базара.

Пребывание турухтанов на озере было кратким, и нам просто посчастливилось увидеть одно из откровений их жизни. Вскоре турухтаны исчезли куда-то вместе с непостижимой тайной их перелета, которая погонит этих птиц по громадному кругу — в Бомбей, а потом в Кению, Италию, остров Гельголанд в Северном море, в Скандинавию и оттуда уже снова приведет в отчий край.

В этот день посчастливилось нам увидеть и пеликанов. Солнце пошло на закат, подул свежий ветер, когда они появились в небе. Сделали круг над озером и спланировали у своего песка.

Потянуло вдруг холодом. Небо затягивает, как ледком, тучами, остаются лишь отдельные полыньи. Откуда-то снизу надуло облачко, оно стало расти, закрубилось все в высях, пришло в движение. Пеликаны снялись с озера. Мы наблюдаем в бинокль. Поднимаются они тяжеловато, грузно. Все выше и выше большими кругами идут они вверх. Тучи в какой-то крутоверти, налегают одна на другую, как льдины, стремительно расплываются, начинают кружить вдруг хоровод. Пеликаны вьются и кружатся в этом ветровом поднебесье и постепенно удаляются с буйной стихией. Отчего-то ж не сидится в тиши им, ищут бури. Так и у человека, в нашей жизни бывает. Погружает его в тишь, гладь да уют, цепко хватают они человека, а тот вдруг рванется вперед в поисках бури — не удержать. Сколько драм, коллизий!..

— Почему вдруг появились в наших местах пеликаны? Граница распространения их — юг Казахстана и дельта Волги,— спрашиваю я у Нияза.

— Да, да,— живо заинтересовывается и Сережа.— Почему, дядя Нияз? «В мире животных» по телевидению говорили, что это южные птицы.

— Точно не знаю,— отвечает он.— Созинов — дока по экологии. Он объясняет тем, что меры по охране действуют. Привлекает здесь пеликанов и обилие разводимой рыбы в озерах. Карась их не прокормил бы, он менее доступен, а пелядь дается...

Он поворачивается персонально к Сереже и спрашивает:

— Ты о Вернадском слышал?

— Чуть-чуть, папа рассказывал немножко, минерал мне привез из лаборатории Вернадского в Ленинграде.

— Немножко, говоришь? Это его не красит,— с нарочитой строгостью заявляет Нияз и усаживает Сережу для «лекции».

Я еду за сушняком в колок, размышляю об экологизации нашей жизни, о том, что более зрелые представления о наших отношениях с природой все прочнее начинают выходить в сферу нравственности. Вспомнилась поездка на Байкал, в Лиственничное, где проходило Всесоюзное лимнологическое совещание, «круиз» озероводов на теплоходе по шелковистым в те дни, зеркально-гладким у берегов, с отражениями чаек, просторам «славного моря», изголуба-зеленые глади его, лиловый в вечерних сумерках хребет Хамар-Дабан. Кипела вода за кормой. Степенный, седоволосый профессор из Томска, доктор биологических наук Бодо Германович Иоганзен, покачиваясь с пяток на носки, высказывал мне свои взгляды:

— Перевоспитывать людей надо, сознание сдвигать у всех от мала до велика. Новое поколение людей нужно растить по-новому. С ребенком нелишне понаблюдать за жизнью луга, лесных сообществ, чтобы он знал дни рождения цветов и не ступал бездумно по майским одуванчикам, следил бы в июне, как распускается липа. Учится пахать тракторист-пэтэушник у озера — должен знать, как вести борозду: поперек склона или вдоль него. Прокладывает трассу дороги или нефтепровода бульдозе-

рист — обязан аккуратно снять чернозем. Это же богатство. В войну немцы вывозили чернозем с Украины... Взятся инженер ва проект осушения болота — подумать надо, что же ценней в каждом конкретном случае — скромные дивиденды в виде урожая злаковых или вечная поставка болотом сена, тетеревов, лосей и ондатр, журавлиной музыки и клюквы. Знание ценности болот должно перестать быть уделом одних только орнитологов и журавлей...

...Землю окутали сумерки, мы сидим у костра.

Заводит в густой ржи свою песнь перепелка: «Спать пора, спать пора...» Нияз зеваает.

— Хорошая птичка перепелка, знает, что человеку надо, — говорит он и идет спать.

Набравшись за день впечатлений, Сережа долго не может уснуть. Он прижался ко мне и просит, чтобы я рассказал о своих путешествиях. И я рассказываю о сахалинских джунглях с лопухами-гигантами, памирских осликах, которых тормозил поначалу криками «хэ-цо-цо», а не «ущ» и чуть не ревел, что «упрямцы» не останавливаются, а наоборот — спешаще идут вперед, живописал пыльные казахстанские бури на целине, когда барханы рождались на улицах городов и в полях. Потом к сыну незаметно подкрадывается дрема, и я с трудом, вялого уже, укладываю спать в спальный мешок.

Засыпаю и сам. А среди ночи вдруг открываю глаза. Уже несколько дней подряд, в одно и то же время приходит ко мне бессонница. Я вылезаю из палатки и долго стою, замороженный ночной тишиной. До того тихо, что кажется, будто это не перепелка во ржи издает свое «спать пора», а сама ночь.

Небо чистое, его словно промыли с солью, и звезды сверкают острым кристаллическим блеском. В сказочной прозрачности неба светит желтая, как сыр, половинка луны. Гладь озера не шелохнется, небо опрокинулось в него, как в зеркало, и мерцает в Чебачьем светлый хребет Млечного Пути. Во ржи зародился молодой туман — поле белеет, как молоко. Спят колосья ржи, спят кузнечики, спит вода в озере. Спит и Сережа. Я начинаю понимать, отчего не сплю: тишина не дает покоя, мы отвыкли от нее в городах. Мне кажется, будто я попал в сказку и буд-

то именно в такую ночь ловил ершовский Иванушка белую, как зимний снег, кобылицу.

Утреннее небо окрасил багровый рассвет. Сережа заспался, я разбудил его и, пытаюсь оправдать позднюю побудку сына, цитирую своего любимца Олдо Леопольда: «Вставать слишком рано — это порок, присущий филинам, звездам, гусям и товарным поездом». Но Сережа все равно недоволен, что проспал, так как считает, напившись истинами от Нияза, что для экспедиции это роскошь.

Над озером стоит густой туман. Сережа чувствует, что пахнет дождем. Он прыгает на одной ножке вокруг костра и приговаривает:

— Сале-мале-бале-пале — чтобы дождик лил сильнеей.

Сказалось, вероятно, напряжение его рабочей недели — душа Сережи требует разрядки. Но нужно еще отловить мальков пеляди. Едва мы с Ниязом успеваем растащить крылья невода, как с неба полетели светящиеся, как жемчужины, крупные капли дождя. Мы все же забрасываем невод и с трудом вытаскиваем его. Не будь Сережи, который не выпускал канат, хотя и ободрал руки в кровь, мы, может быть, и упустили бы в воду одно крыло. Замет оказался удачным. А дождик был из тех, что зовут слепыми. Он поблестел на солнце над озером и пошел стороной дальше показывать лесам и полям жемчужные свои богатства.

У палаток просигналил шофер голубой живорыбной машины, которую прислал за нами директор рыбхоза.

Мы быстро собираемся. Сережа протягивает налитую уже силой ладошку Ниязову.

— До свиданья, дядя Нияз. На следующее лето я обязательно приеду сюда.

Тягуче, словно бы на прощанье прокричал свое жалобное, как мяуканье, «кья-я-я, кья-я-я, кья-я-я» летающий над полем канюк.

— Не хочет, чтоб ты уезжал, — пошутил я, кивнув в сторону птицы. В глазах сына была серьезная грусть.

Нияз щурит глаза, как будто защипало их...

Уже в райцентре Сережа с озабоченностью спрашивал меня:

— Папа, как ты мне посоветуешь? Кем быть? Конструктором космических кораблей, как я мечтал, или ихтиологом?

— Вырастешь — решишь, Сережа.

Солнечный день, тихо, не шелохнется млеющая листва, мы свободны от облова озер. Вернулся улетавший в Москву по делам института Созинов.

— Ты называл поля и леса вокруг Чебачьего нашим домом, а небо крышей,— напомнил мне Игорь.— Пойдем в колки погуляем по комнатам...

И вот мы идем по бархату трав. Среди светло-сиреневых цветов мятлика в березнике мирно соседствуют сухие соцветия старого, ржавого тысячелистника и ворсистого борщевника, распустившего побеги, как пальма.

— В войну мама борщ с ним варила,— говорит мне с задумчивостью Игорь.

У самой земли светятся небесно-голубые звездочки незабудок, кажется, на лужайку опустился кусочек неба. Радуют глаз звездчатки, соцветия клевера. Перебивает их, привлекая к себе внимание, ярко-желтый лютик.

Завораживает акварельно-прозрачной палитрой оттенков ирис, на крупных сочно-лиловых лепестках которого проступают вишнево-розовые и черно-синие прожилки.

Головки ветреницы дубравной нежат в поцелуях солнца белые листики-лепестки. Колокольчики тянутся к свету.

Игорь кивает головой в сторону их.

— Все к солнцу тянутся, урвать стараются побольше энергии.

Парируя другу, который как естественник прав, конечно, я к случаю цитирую Вивекананду: «Деревья и цветы не воруют, они не нарушают законов и беспорочны, но не превосходят грешного человека, так как не мыслят, и только он может быть моральным гигантом».

Увидев купальницу, Игорь сорвал ее и галантно преподнес мне большой желтый цветок.

— У нас в экспедиции это символ удачи и счастья. На День рыбака всегда на столе. Ритуал уже...

Меня волнует это приобщение к чему-то очень поэтичному у моих друзей-рыбоводов. Виду-то я стараюсь не подавать, а расчувствовался, и на лирический мой настрой попавшие на пути нам цветки медуницы представляются мне колоколами граммофонов. Я замираю, останавливаю взглядом Игоря и говорю еле слышно:

— Может, они и поют по-своему, а мы просто не слышим? Молодые, вишневые граммофоны — о молодости, а стареющие, лиловые — о закатных днях... И заслушались их девочки — синенькие фиалки...

В колке идет своя жизнь. Согнулся мятлик под тяжестью паутиной сетки, десятки молоденьких паучат резво снуют по ней, за обжитой площадкой они робки и осторожны.

Потревоженный шмель выбрался из желтой чашки цветка одуванчика и грузно полетел над землей. «Жи-жи-жи», — жужжит он, брюшко дрожит на весу. Две половинки его перетянуты и напоминают баки с горючим. Тревожно-тяжело, как дальний бомбардировщик, гудит шмель. Ловлю себя на мысли, что нам, рожденным в эпоху машинной цивилизации, привычно приходят такие вот сравнения живых существ с изделиями из железа. И не поймешь теперь, хорошо это или плохо.

Из-за угла леса спланировал на лужайку конек. Выпустил лапки, как шасси, затрепыхался, сдерживая крыльями скорость, и несколько раз скакнул по траве. Угодил почти под ноги нам, отчаянно моргнул и бодро-испуганно прощебетал:

— Твив-чив-цирлюй.

Ну что ему скажешь?

— Цирлюй, цирлюй, конечек.

Через несколько шагов мы стали свидетелями «рукопашной» схватки муравья и какого-то одетого, словно в броню, в сверкающий панцирь жучка. Поле боя — лист невысокой осинки. Муравей попытался перевернуть на спину жучка. Это ему удалось, и он ищет хоботком, где бы куснуть противника. Уязвимых мест нет. Муравей титаническими усилиями ставит жучка на ноги и неумоимо колотит по спине лапкой. Броня крепка, ничем не возьмешь, а может, ему надо было «прослушать» противника. Муравей спускается по веточке за помощью, и вскоре на арене

листа три участника боя. Долго идет бессмысленная, на наш взгляд, борьба. Пора бы уже идти, но мы стоим и смотрим. Уже и «болеть» стали, я — за жучка, Игорь — за муравьиный дуэт. Один муравей кругами ходит около жучка (может быть, отвлекает его внимание), другой тупо молотит по спине лапкой. И мы вдруг улавливаем смысл этой операции, когда в желобке, где сходятся бронированные крылья жучка, появляется белый пушок. Жучок в какой-то момент ослабил свое внимание, и муравей просунул «коготок» под крыло.

Игорь выпрямился и победоносно взглянул на меня.

— Все, — сказал он, — теперь муравьям удастся раздергать его.

Колок жил по своим законам. А Земля несла нас в нескончаемый мир звездопадов. И меня, и Игоря, и прекрасные озера Сибири, ставшие нашей судьбой, и многочисленные колки, и сочно-лиловые цветки ирисов, и воинственных муравьев...

Вечер. Огненно-белый закат красит воды Чебачьего. Скользит по небу запоздалый клин журавлей. Они летят быстро, молчком. Торопятся. Быть ненастью и холодам.

Горизонт на западе пожелтел. Лают собаки у чабанских домиков. Игорь Созинов пытается расшуровать костер, едко дымят сырые березовые дрова. Скоро расставаться с глухими осенними ночами, с кострами, с Чебачьим...

В полночь нас будит шум мотоцикла. Приехал рыбинспектор Анатолий Савельев. Снова разжигаем костер, ставим чайник. Ответы пламени тревожно порхают по липам. Лаборантка-новичок Оля Кызылова, мечтающая, как Олеся у Куприна, останавливать кровь заговорами, перевязывает чистым бинтом рассеченный лоб Савельева. Обаятельной девушке-татарке с тонкими, черными дугами бровей и сочным, спелым румянцем тугих полных щек «к лицу быть сестрой милосердия», как подметил мне шепотком Игорь.

— Валом пошли браконьеры, где мед, там и мухи, — с хрипотцой говорит Савельев. — Человек десять разогнал возле Без-

густкова. Один со спины веслом замахнулся, я обернулся, и скользнуло меня по лбу. Отвез его в Бердюжье, в милицию.

Савельев поднимается и начинает прощаться.

— Пора ехать.

Затих стрекот мотоцикла. Ушла в свою палатку Оля Кызылова, а мы сидим с Игорем у костра. Бегают рыжими зверьками струйки огня. Не хочется спать. И тут-то я в первый раз услышал о рыбинспекторе из Бердюжья Василии Засицком.

— Толя почему ездит в этот район? Место вакантное там,— сообщает мне неожиданное известие Созинов.— Вот и шефствует над Бердюжскими озерами Казанская инспекция. Погиб Засицкий. Ты думаешь, дурь на меня находит, когда кипячусь я в отношении браконьеров? Да я бы их, гадов...— Он опять возбуждается, но всплеск проходит, и Игорь спокойно уже продолжает рассказ о чубатом парне с большими глазами и скуластым волевым лицом (таким он его запомнил):

— Чистая, светлая душа была у него. Он физруком в школе работал, и дети его очень любили. А потом рыбоводством в районе занялись и пригласили его в инспекцию как комсомольца, спортсмена, боевого принципиального парня. Девушку одну он очень любил, жениться успел, но не долюбил. В молодоженах еще ходил — грозились ему. Озлились браконьеры, что житья не стало от нового инспектора им. Жене однажды сказал кто-то: «Передай своему Васе, чтобы притих, не то голову сломим». И сломили на Сорочьем. Убили его на воде прямо. Как все произошло, до сих пор мраком покрыто. Вытащили тело Засицкого, а на виске, на лице его кровь запеклась, сине все до черноты...

История о молодом рыбинспекторе запала мне в душу, и вскоре мы с Игорем сочинили в память о нем песню, которую потом положил на музыку местный композитор. Очень хотелось нам, чтобы осталась о Василии Засицком память, чтобы жил он хоть в песне...

Приезд Толи Савельева определил тему разговора: как относиться к браконьерам. На этот раз обошлось без споров, мы были на редкость единодушны с Игорем.

— Вот ты говорил об интересах любителей, Саня,— говорил Созинов.— Дикие они, как сословье неорганизованных туристов,

и чаще всего невежественные в вопросах природопользования. А ведь половина уловов на внутренних водоемах страны падает на них... Стране нужен научно-исследовательский институт спортивного рыболовства с разветвленной сетью отделений на местах. Чтоб работали в нем ихтиологи, рыбоводы, гидробиологи. Чтобы были показательные хозяйства. Учить надо людей рыбачить по современному, и без глубоких разработок не обойтись. Акклиматизация новых видов рыб, изучение кормовой базы, подготовка конкретных рекомендаций по каждому водоему... Окультурить надо любителя... В Соединенных Штатах и других странах есть такие НИИ, которые финансируются любителями. Так почему бы нам не изучить их опыт? И заняться этим должны на совместных началах министерства рыбного и сельского хозяйства, Всероссийское общество охраны природы и ВЦСПС. Да, да, профсоюзы, потому что отдых трудящихся — это по их части... Как ты думаешь?..

Возвращаясь с одного из озер, ехали через Грачи. Созинов остановил машину у скособоченного домишка. Он мрачно взглянул на меня и проговорил:

— Нужно, Саня. Послушай бабушку. Тракторист один о ней рассказал.

И вот мы сидим с хозяйкой на бревнах у ворот. Лицо старушки в сетке морщин, она смиренно сложила на коленях руки с набухшими синими венами.

— Помочь, значит, хотите? Кошкарлова Варвара Павловна я. Тридцать лет свиначкой работала, пенсию получаю. Мужа у меня давно нет. Сын погиб на фронте. Семнадцатый год был ему тогда, учился на командира в сорок третьем году, и в первом бою убили его. Похоронка была. В селе Сорочине в братской могиле он, ездила я к нему.

Глаза у старушки ясные, бесхитростно-голубые, и каждое ее слово трогает за душу. Щемит на сердце от вида двенадцатитринадцатилетней девочки, на которую указала старушка, — Тани. Глаза ее чистые, как слезинки. Девочка глухонемая. Она доверчиво посматривает на нас и старушку, на деревенскую улицу и

на солнышко. Одну руку она прижала к груди — кисть ее тихонько подрагивает.

— С Таней и коротаю старость,— кротко говорит старушка.— С рождения неизлечимо больна Таня. Устали родители с ней возиться, да и пьянкой шибко много занимаются они, а детей куча, я и взяла девочку. Пять лет уже у меня. А умру, там как хочут... Изба у нас валится, в окно зимой дует — подушкой затыкаю. Директор совхоза пообещал: «Поставим тебе дом». Сняли его за плохую работу. Перетерпела и новую зиму. К другому пришла. «Павел Олександрович, отремонтируйте хатку».— «Новую,— отвечает,— поставим тебе, ты заслужила». А в месткоме потом мне сказали, что ничего не будет, без меня много дел.

Старушка вздохнула, глаза у нее померкли.

Во время ее недолгого рассказа Игорь не проронил ни слова, губы его были плотно сжаты и стали сизыми от напряжения.

— Постараемся что-то сделать,— сдавленно проговорил он.

А через несколько минут наша машина подрулила к конторе совхоза. Мы успели застать председателя месткома и взяли его в оборот вдвоем. Он то краснел, то бледнел, а под конец по лицу его пошли бурые пятна.

— Будет дом Кашкаровой,— заявил он.— Завтра плотника на ремонт хатки направим. Только не пишите ни в какую газету, избавь бог от нее...

— Давно знаком я с профсоюзником этим,— горячился Игорь в машине уже, давая полный выход эмоциям.— Думал он, что помешались мы на рыбке своей, исследованиях, синие чулки научные, и нам дела ни до чего больше... Так меня полоснула по сердцу судьба девчухи! С детдомовскими детьми когда-то встречался, такое же испытал...

Выдалось свободное время. Игорь поехал в Грачи за продуктами, а я пошел гулять по Волчьему лесу. Так его называет Игорь, оттуда приходили к избушке чабанов волки, когда зимовал он на Чебачьем.

У домика чабанов встречаю Машу Шегенову, лесника-казашку. Муж ее Леня уже угнал скот. Маша утерла нос младшему сынишке, старшему наказала не ссориться с ним. Она собралась в обход по ближнему участку леса, это нам в одну сторону. Маша в пуховой шали, в фуфайке, подпоясанной солдатским ремнем, и с топориком. Она на голову ниже меня, но идет быстро. Щеки ее покраснелись и стали как яблоки-анисовки.

— Куда торопишься, Маша? — спрашиваю ее.

— Всегда так хожу. Движение — жизнь: проточная вода не портится, — отвечает она.

Солнце горит в росистой траве, на ветках деревьев.

— Утренняя роса — добрая слеза, ею лес умывается, — замечает проходя Маша.

Стоит на пути кривая сосенка. Маша всплеснула руками:

— Горюшко ты мое! Вот как загнулась к земле.

Начала поправлять ее. Срубила березку, под которой росла она, и поясняет мне:

— Жалко, а надо: гибнет сосенка, свет ей нужен, воздух.

Идем молча. Маша поворачивается ко мне и с рассудительностью говорит:

— Лес без призора глохнет. Молодые деревья — что малые дети, глупечики. Они тогда станут деревьями, когда начнут плодоносить, семя давать. Это как люди: начали детей растить — в полную меру жить стали.

— Маша, а не боишься ты одна в лесу? — обращаюсь я к ней. — Всякое может случиться.

— Мы с детства в лесу и леса не боимся, это наш дом родной, — говорит она деловито. — Волка не затронешь — он не тронет, а дорогу перебежит — к счастью.

— Человек тронет, Маша.

— Не трогали пока. А что дальше будет — надо еще прожить. Спрашиваю я у лесничего: «Что делать, если встречу в лесу с порубщиком, лесокрадом, а он бросится на меня?» — «Стреляй, — говорит. — Убьешь — пень твоим свидетелем будет». Да-а, — сказала она со вздохом. — У порубщика души нету: срубить дерево — минута, вырастить — года. Подсаживаем мы лес, нельзя

без этого. Я думаю: можно выращивать и прекрасные сортовые леса, такую сосну, где пальчика не просунешь, человек же в природе бог и все может... Дерево, конечно, без топора не живет, для человека и лес. А рубить в лесу всегда есть что, но надо с умом подходить. Пчела мед собирает и сберегает цветы. Человек так же с лесом обращаться должен. Чистить его надо, больные деревья убирать, а то они падают, завалы создают. Я раз в таком месте об остряк чуть бок не распорола... Летом я больше пешком хожу, а с осени чаще на лошади. Слякотно бывает осенью и весной, конь, как на лыжах, идет... В зиму дни короткие, рано темнеет. В это время тошно бывает в лесу одной, не скрою. Глухо в сумерках, поговорить не с кем, пичуга не пикнет. А человеку без общения трудно. Я в Ишиме, в чайной, старика слепого видела раз — до сих пор он перед глазами. Устроился в уголочке у стенки со стаканом вина. Один глаз у него вытек, другой с бельмом. Никто к нему за стол не садится. Он со стенкою и говорит: «Человек должен выпить спокойно и побеседовать. Скажу об одном человеке. Душа его совершенно чистая, а его милиция забрала. Нехай меня заберут за него, но я стоял и стоять буду на своей точке зрения. Испортить жизнь могут человеку, исковеркать. Эх вы, граждане...» А потом засмеялся жутко так. Не могу забыть этого слепого. Вот как необходимо человеку общение. Взвоешь, со стенкою заговоришь... Одиночество тоже полезно бывает. В деревне своей Селезневой поживу месяц, и в лес хочется. Сплетни, карты, вино, зависть...

Маша разговорилась, и мне временами казалось, что говорит она сама с собой. Сказывалась, наверное, ее лесная привычка.

Мы вышли на край зеленого, заросшего поля.

— Гулевая земля, отдыхает,— пояснила мне Маша.

— Как ты считаешь, нужен волк в наших лесах или их отстреливать надо? — спросил я ее, думая о своем.

Она подняла брови и задумалась.

— Как бы тебе сказать? Нет, не нужен здесь волк.

— Почему?

— Жить каждому хочется, но жить надо на честность. А ка-

кая у волка честность? Волка зубы кормят, он тебя вроде и не трогает, а овечек твоих по ночам таскает. Вор!

— Но лесу-то звери нужны.

— А ка-ак же! Лес без зверя скучать будет...

Она оправила фуфайку, подоткнула лучше топор и сказала:

— Ну, если ты хочешь завалы посмотреть, где волчьи логовища,— пересекай поле и так прямо километра три иди и иди. Да смотри, чтоб не позавтракали тобой волки. А мне вдоль поля надо теперь...

И быстро пошагала, посматривая на деревья. Потом издалека вдруг обернулась и крикнула:

— Уезжать будете, заходите по-соседски в гости, попрощаться.

В холодном осеннем воздухе над Чебачьим далеко разносятся наши крики и переговоры. Это опять к ненастью, к дождю, снегу. Но непогода не страшна нам: заброшена последняя тоня, кипит в кутке невода пелядь. Выбираем ее в ведра и кричим «ура!». Конец полевого сезона! Созинов подхватывает Ольгу и кружится с нею, целует Таню.

Собираемся в гости на бешбармак к соседям.

У дома Шегеновых грузовая машина. К ней, хромая, идет человек с одутловатым лицом. Леня Шегенов виновато смотрит ему вслед. Мужик оборачивается и цедит сквозь зубы что-то злое. И смиренный обычно и тихий человек, о каких говорят «мухи не обидит», Леня кричит ему:

— Как был ты надутая морда, так и остался!

Нам он поясняет:

— Управляющий из деревни одной, наглый такой, пристал да пристал: «Дай рыбы». — «Не ловлю я ее и тебе не советую, нельзя тут, заповедное озеро», — говорю я ему. Он свое: «Ну, может, я сетку поставлю у твоего бережка, я тебе комбикормов привезу». — «Нельзя, — говорю. — Я озером не торгую».

Маша хлопчет у печки. У низкого казахского стола нас ждут уже коврики. Принимаем у Маши поднос с бараниной.

Игорь разливает водку, а я вожусь с «Рымникским» — это мы купили для девушек. У Лени больной желудок, и он открывает себе бутылку с минеральной водой. У него короткая челочка, как у школьника, и виноватый взгляд.

— Извините, ребята,— говорит Леня с акцентом,— жизнь так построена, что встречаются и прощаются люди с вином, а я отставной человек в этом деле.

А Маша подкладывает на тарелки томленной картошки, с присловьем ставит солонку:

— Без соли стол кривой.

Первый тост за Машей. У нее повлажнели глаза.

— Жалко расставаться с вами, хорошие вы мои соседи. Приезжайте, всегда будем рады.

За столом раскованность и оживление.

— Много вы работаете, Игорь,— обращается Маша к Созинову.— Не по-городскому, а как колхозники, по-действительному. Жизнь даете озерам! В районе нашем не знали, что такое пелядь, а теперь только дай, карася не надо.

Маша рада гостям, с теплотой смотрит на всех, разговорилась:

— Я как барабан: все, что есть на душе, выложу. Без спотычки и конь не пробежит, хоть он и о четырех ногах. Вот и я раз споткнулась, решила рыбки поесть и поставила сетку на Чебачьем. И Савельев, инспектор, подъехал, душевный такой человек. «Я знаю тебя как честную труженицу, Маша. Зачем тебе это надо?» — говорит. Два года прошло, и как вспомню это, в жар бросает, стыдно. Ну, была б я мужиком, это куда ни шло. А я ж женщина!.. Если мы не будем держать себя, с кого ж мужикам пример правильности брать?.. На поле колхозном я ведь колоска не возьму. Упаси бог! Хлеб — это святой труд людской. А к рыбе мы не привыкли еще, не сознаем, что озеро — такое же поле...

— Какая хорошая тетя Маша, так я ее люблю, всегда при случае заезжаю к ней,— говорит мне Машина гостя из Грачей, ветеринарный врач Люся Голубкина.— Сосед у нее только подлый, Тимка Юджусупов, чабан наш. Ох и хват, все тащит, рыбу, комбикорма.

— Что ты там Тимку поминаешь? — окликает девушку Маша.

— Ручки загребущие, говорю, у него.

— Действительно так, поэтому и деньжистый. С душком человек, с волчьими зубками. Да о ком ты заговорила за праздничным столом? Скажи лучше, как жених твой поживает.

Люся, не говоря ни слова, склонила голову и смотрела в пол.

Маша понятиливо покачала головой и сказала тихо, для себя и Голубкиной, вероятно:

— Вона как, девка, бросил, а уж я тебе говорила.

Маша привлекла к себе Люсю и тепло и укорно проговорила:

— Вот оно, золото, как оборачивается. Хвасталась ты мне подарком его, золотыми часами. Правильно я тебе сказала тогда: «Это, Люся, не подарок. Приравнивай золото к комку земли, и хорошо тебе будет».

Маша поглаживает Люсю по голове и говорит:

— Если бы я гналась за деньгами — у меня бы их было много. А я ценю только трудовой рубль. Пусть мы живем небогато с Леней, со счету все. Масло-хлеб свое, шали, бывает, важу. Раскидываю каждый день по рублю, что купить, школьнику каждому по пятнадцать копеек дашь. Леня у меня по полгода из-за здоровья не работает, и только с учетом нам можно жить. Но я не жалуясь. Дети обуты, одеты, учатся хорошо. И совесть у меня чиста, и сплю я спокойно. И песни сейчас запоем, и горе твое поутихнет.

И запела Маша про калину-малину, что под яром стояла и так рано завяла, про миленка, могила которого — край синего моря.

Вдохновенно выводила Маша чистым соловьиным голосом, и песня шла у нее как слеза:

Я ее раскопаю, косточки повыбираю,
Пойду до Дунаю — поперебиваю,
Шелковым платочком поперебираю,
Желтеньким песочком поперебиваю.

— Подруга у меня украинка, такая певунья, — пояснила мне Маша, — и я песни ее полюбила.

Потом спела задорную «Эх, летчики-самолетчики» и снова лирическую — для девушек. И лилась песня про девушку, которая в колодце воду брала, уронила золото ведерце, погубила пареньково сердце...

А мужчины сдержанными голосами завели:

У рыбака своя-а звезда-а-а...

И наполнял тесную комнатку чебачинский звездный воздух, который мы глотали до слез. И ждали нас где-то любимые. И с верою пел каждый, что старость его дома не застанет.

А потом интересный разговор о любви завязался, целый диспут. Первопричиной его послужила наша вторая лаборантка Таня Мазейна, очень серьезная девушка с серыми глазами, мягким овалом лица и длинной косой. Но искру зажег, вероятно, я.

Оля обмолвилась, что Таня ждет не дождется дня отъезда, потому что полтора месяца назад договорилась о какой-то встрече с женихом. Я с чего-то начал рассказывать Тане о Петрарке и Лауре, о том, что любовь к ней не мешала ему влюбляться в других женщин, и что от этого он не стал менее хорошим, и что любовь — понятие очень широкое и емкое.

Таня поджала губы и спросила:

— Как емкое понятие?

За меня ответил Игорь, потом шофер наш Саша Смелков, и затем все мы стали говорить. Дошли до измены, и трактовок ее было несколько: изменил муж жене и понял, какое он барахло, и раскаивается, а нравственные страдания — это всегда хорошо; изменил муж жене и понял, что у него прекрасная жена, и дубина он стоеросовая, что мало ценил ее; в третьем варианте измена — предательство друга, которое нельзя прощать. Саша пропел, оправдывая и эту измену, куплет: «Как своя жена — полынь горькая, у друзей они — лебеди да лебедушки».

Таня пылко возразила своему оппоненту, выразив свои эмоции довольно недипломатично:

— Да я голову ему разобью, выгоню...

И насупилась, сидела мрачная, злая, печальная.

Маша смотрела-смотрела на нее и говорит:

— От печали, Таня, гибнет красота, гибнет сила, слабеет ум, печаль приводит к болезням. Не поддавайся печали!

— Я и не поддаюсь,— ответила ей Таня чуть не со слезами.— Не согласна я с неверною любовью и твердую линию хочу держать.

— Какой же ты глупечик,— с досадой проговорила Маша.— Будь всегда как вспаханное поле, готовое принять добро, а зло само вырастет, его холить не надо.

Таня все-таки не соглашалась с ней.

Маша стояла на своем.

— Ну и бойкая ты девушка. Бойкая в юности — несчастная в женщинах можешь стать...

— Какой бы ни попался, но уж я ему не изменю,— примирительно заявила Таня.

— Ээ-э, милая, не зарекайся,— с улыбкой махнула рукой Маша.— Непостоянство у женщины возможно, как возможно молоко у коровы. Нас, милая, не страсть губит, а слабость.

— Наливай еще! — крикнула она Игорю, вскинув атласные полумесяцы своих черных казахских бровей. И пошла по кругу под плясовую мелодия экспедиционного приемника «Спидола».

— И петь будем, и плясать будем, а смерть придет — помирать будем,— приговаривала она в такт с дробным перестуком каблучков. Она двигалась по кругу, подняв голову, лицо ее заалелось и было прекрасно, как прекрасен осенью плодоносный сад.

Пришло время прощаться с чудесной четой Шегеновых. На улице разгулялась метель. Идем вдоль озера, в лицо нам бьет льдистый снег-сеченка. Словно шеренги солдат, накатывают на берег валы, и грозно, как море, шумит Чебачье.

Кончилась осень. Белое, налитое снегом небо, белая от снега земля, серая, стальная вода Чебачьего. Не сегодня-завтра озеро встанет.

Мы с Игорем кончаем загрузку машины, уложены лодки, палатки, приборы, пробы, осталось скатать спальники и собрать всякую мелочь. Таня и Оля отправляются погулять в колках, проститься с лесом.

Синяк на лице Ольги прошел, вновь оно лучится улыбкой. Под занавес полевого сезона Ольга показала, что она не только умелая рыбачка, но и смелая девушка.

В один из дней мы с Игорем пробыли в конторе рыбхоза. Возвратились домой — водитель наш Саша Смелков на себя непохож, лицо в ссадинах, перебинтовано, смотрит он диковато, поволчьи, не в силах еще совладать со злостью.

— Если бы не девчонки, убили б меня, — мрачно проговорил он. И Оля Кызылова рассказала, как все произошло:

— Саша задержал на Пеликаньем песке браконьеров. Когда уезжал на лодке туда, сказал: «В случае чего выстрелю вверх». Мы услышали с Таней выстрел. Бросились в машину, я села за руль, и погнали. Браконьеры оказались пьяными. Там завязалась драка. Двое на Сашу бросились. Чабан Тимка Юджусупов увидел, что у Саши выпал из-за голенища охотничий нож — он же с ним не расстается. Тимка крикнул друзьям, что их хотели зарезать, подстрекнул, одним словом. И схватил Сашу за ноги, а сообщники Тимки опрокинули его и начали втроем пинать и лупить, разъярились. Мы визжим с Таней, бросаемся на мужиков, я одного укусила. Насилу отбили. Я опять за руль села, и в больницу в Грачи погнали...

Девушки вернулись из колков, Оля взяла пару кружек.

— Попьем еще на прощанье воды из Чебачьего.

Девушки стоят на мостках. Оля отхлебнула глоток и медленно ведет взгляд по берегам озера. В больших карих глазах ее слезный наплыв. Она вдруг плеснула в лицо водой, чтобы скрыть свою слабость. А потом глядит на озеро чистым ясным взглядом. О чем думает она? Может, о поздке на дальние наши озера Безгустково и Сорочье, где неводили мы в звездные ночи и в полном слиянии с миром природы были?

У озер бродил в эти ночи табун лошадей, и Ольга вспомнила тогда, как училась на них в детстве заговаривать кровь и дед ее, конюх, показывал внучке расположение вен и артерий коней, говорил, где пережимать их. И жемчужины крупных звезд, и табун лошадей откладывались в душе ее одним впечатлением, и неделю подряд потом Ольге снились белые, как сияние месяца, кони, овеваемые звездным ветром.

Каждый видел в звездном небе свое, по-своему воспринимал его. Олины звезды беззвучно струили трепетный свет и дрожали, словно слезинки в детских глазах. Игорь был строг и смотрел в черную даль космоса, как геометр. Его небо было бесслезным и черствым. Я был ближе к Оле с восприятием звездного мира.

Мне показалось все-таки, что Созинову не чужда грусть расставания с озерами, но он ворчливо говорит:

— В такую даль из Тюмени ездим. А ведь чего, казалось бы, проще — организовать лабораторию рыбоводства в Ишиме? Ведь это прямо в центре озерной зоны. Смысла больше и эффекта. Приближать науку к делу надо, а не «гастролями» обходиться. Некоторые же мало у нас были летом. В коман-ди-ровке! Куда все это.

До свиданья, Чебачье! До новых встреч, страна тысяч озер!

СОДЕРЖАНИЕ

Батлымские тропы	3
Последний волчатник	29
Летели котики на юг...	44
Счастливый человек	71
Подари озерам жизнь!	86

Александр Петрович МИЩЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ ВОЛЧАТНИК

Ответственный за выпуск **Ю. Михальцев**

Редактор **Н. Нефедов**

Художественный редактор **Г. Комаров**

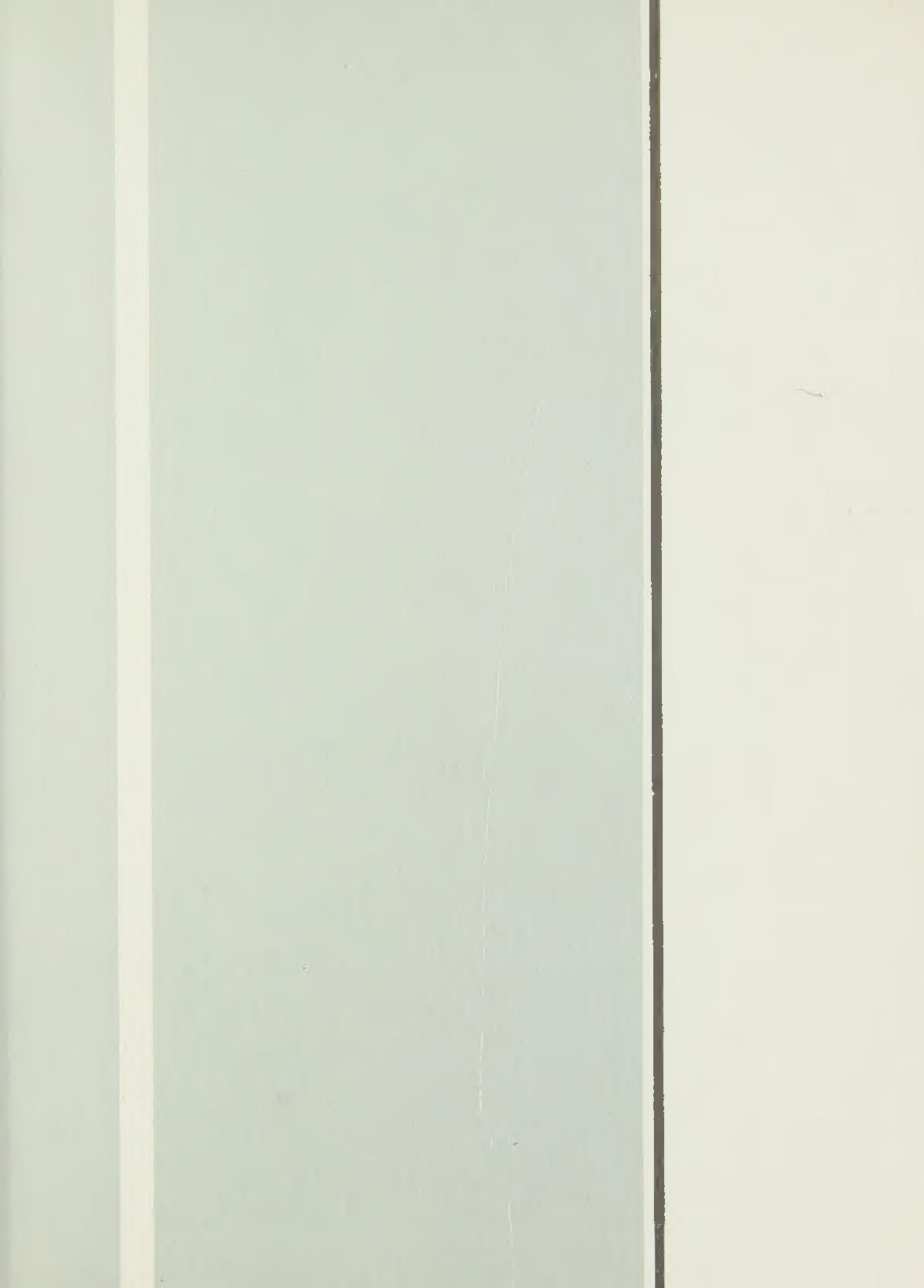
Технический редактор **Н. Александрова**

Корректоры **Г. Василёва, Е. Дмитриева**

Сдано в набор 11.05.84. Подписано в печать 15.11.84. А 00875. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 5,6. Усл. кр.-отт. 6,12. Учетно-изд. л. 6,7. Тираж 75 000 экз. Цена 20 коп. Издат. № 870. Заказ 4—163.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42.



20 коп.

Молодая гвардия

